ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЕВРОПА, РОССИЯ, США

ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЕВРОПА, РОССИЯ, США

Калининград
2003

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЕВРОПА, РОССИЯ, США

Сборник научных статей

Под редакцией проф. В.Н. Брюшинкина

Издательство
Калининградского государственного университета
2003

УДК 13.2(08)
ББК 1М3я43
И 292

Редакционная коллегия:

В.Н. Брюшинкин, д-р филос. наук, проф., отв. редактор;
Н.В. Андрейчук, канд. филос. наук, доцент;
Л.М. Гаврилина, канд. филос. наук, доцент

И 292 Идентичность в контексте глобализации: Европа, Россия, США.: Сб. науч. тр. / Под ред. д-ра филос. наук, проф. В.Н. Брюшинкина. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – 241 с. ISBN 5-88874-473-5.

Сборник статей подготовлен по результатам двух научных семинаров: «Европейская и российская идентичности: границы Европы и России» (Калининград, 30 октября – 1 ноября 2002 года); «Культура и идентичность в контексте глобализации: Россия, Европа, США» (Калининград, 13 – 14 февраля 2003 г.) и содержит итоги исследований российскими учеными проблем, связанных с понятием идентичности. Точка зрения авторов публикуемых статей не обязательно совпадает с точкой зрения редколлегии.

Данное издание выходит в свет при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса), грант № HDD 101, Генерального консульства США в Санкт-Петербурге (грант Правительства США № S-RS500 – 03-GR-037).

Распространяется бесплатно

УДК 13.2(08)
ББК 1М3я43

ISBN 5-88874-473-5

© Коллектив авторов, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

Методологические аспекты идентичности

Брюшинкин В.Н. К методологии анализа понятия идентичности 11

Носков В.В. Понятие «идентичность» в современной историографии: практика употребления термина 19

Сергеев А.М. Поиск идентичности: ситуация времени и пространства 43

Гришаева Л.И. Взаимодействие факторов «свой», «чужой», «другой» при аккультурации и инкультурации личности 54

Глобализация и антиглобализм как вызовы идентичности

Абрамов Р.Н. Массовизация как культурный феномен глобального общества: российский и европейский контекст.... 71

Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: вызовы глобализации..... 85

Струкова Т.Г. Проблемы глобализации и современный роман 98

Пустовойтова Е.П. Сторонники и критики процессов глобализации в современной социально-политической мысли: Россия и США 112

Поиск региональных идентичностей

Дахин А.В. Структуры муниципальной самоорганизации локальных этнокультурных сообществ как фактор формирования идентичности (на основе сравнительного анализа России, Южной Кореи, Канады)..... 131

Макарычев А.С. Идентичности балтийских пространств: сетевое взаимодействие или конкуренция региональных проектов? 142

Андрейчук Н.В., Гаврилина Л.М. Калининградская региональная субкультура, идентичность и ментальность 155

Алимпиева А.В. Калининградцы: проблема социальной идентичности..... 169

Национальные идентичности:
Россия, США, Великобритания

Макурин А.И. США и Россия: формирование концепции национального образа в начале XX в. 179

Юнгблюд В.Т. 1945 год: новые образы мира во внешнеполитическом сознании США 186

Сысоева Е.Т. Ценности американцев и русских в пословицах и поговорках: совершенствование коммуникативной компетенции 197

Муравьева М.Г. Гендерный и национальный аспекты идентичности политической элиты (на примере британской политической элиты) 205

Струков В.В. AlieNation: Феномен «отчуждения» в современной литературе и кинематографе Великобритании..... 218

Именной указатель 236

Сведения об авторах 239

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Познай самого себя!» – этот призыв на воротах храма Аполлона в Дельфах на долгие века определил главную задачу философии и философов. Кто я? откуда пришел? куда иду? – эти вопросы волновали души и напрягали умы философов. Задача самопознания многогранна, охватывает и микро- и макрокосмос, ее решение воссоздает целого человека и целое человечество, значительная часть которых в обычной жизни скрыта от света сознания. Человек, похоже, устроен таким образом, что «путь вверх» и «путь вниз» в деле самопознания – одно и то же. Выходя за пределы индивидуального человека в то общество, в котором он живет, мы впервые начинаем понимать индивидуальность человека. Двигаясь внутрь человека, мы находим там общество как его внутреннюю сущность. «*Общество есть дополненная или расширенная личность, а личность – сжатое, или сосредоточенное общество*»[1] – писал Владимир Соловьев в своем «Оправдании добра». Поэтому определение принадлежности человека к более широкому общественному целому становится частью самопознания человека.

Целостное здание философии давно распалось на отдельные дисциплины. Философ теперь не говорит от имени всех, кто познает этот мир, даже от имени всех тех, кто познает человека и его место в мире. В наше время социологи,

---

[1] *Соловьев В.С.* Оправдание добра. Нравственная философия // *Соловьев В.С.* Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 1. С. 286.

политологи, историки, филологи, психологи занимают свою самостоятельную нишу в деле самопознания. У них есть собственный взгляд и собственный методологический инструментарий, позволяющий добывать знания о человеке, недоступные философу. Вместе с тем в этих дисциплинах постепенно образуются сквозные проблемы, которые происходят из философской проблематики, но уже получают новое, более наукообразное, обличье. Так получилось с идентичностью. Старая добрая философская проблема была по-новому названа и раздроблена на бесчисленное множество кусочков, каждый из которых получил своеобразное описание на «птичьем» языке какой-либо дисциплины[2]. Национальная, этническая, социальная, политическая, электоральная, языковая, культурная, региональная, местная, гендерная, сексуальная, возрастная, идеологическая, индивидуальная, коллективная, групповая, личностная, религиозная, историческая идентичность – таков неупорядоченный и далеко не полный список идентичностей. Обобщающие исследования натыкаются на произвольность толкований термина, отсутствие единых оснований классификации. Одним словом, тема идентичности созрела. Она созрела для проведения комплексных междисциплинарных исследований, которые постепенно могут привести к образованию единого исследовательского поля.

Калининградский государственный университет, Балтийский межрегиональный институт общественных наук, кафедра философии и логики исторического факультета КГУ в октябре 2002 г. [3] и феврале 2003 г.[4] провели междисциплинарные семи-

---

[2] Хорошие примеры подобных описаний приведены в статье проф. В.В. Носкова, опубликованной в настоящем сборнике.

[3] При поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) грант № HDD 101.

[4] При поддержке Генерального консульства США в Санкт-Петербурге (грант Правительства США №S-RS500 – 03-GR-037).

нары[5], посвященные проблеме идентичности, участие в которых приняли философы, историки, филологи, лингвисты, психологи, политологи, социологи, юристы, культурологи, экономисты, педагоги, социальные географы, заинтересованные в обсуждении проблемы идентичности, из различных регионов России, а также США. На семинарах были представлены результаты исследования проблемы идентичности в различных гуманитарных дисциплинах. Значительное время в ходе обоих семинаров было затрачено на поиск общего языка для обсуждения этой проблемы. Насколько такой поиск оказался успешным, покажут будущие исследования участников семинаров.

В настоящем сборнике представлены статьи, написанные по следам докладов, прозвучавших на этих семинарах. В некоторых статьях можно заметить тенденции к междисциплинарности, хотя и довольно робкие. В целом мы имеем дело с попытками описания феномена идентичности на привычном для данного исследователя дисциплинарном языке[6]. Что же делать философу в такой разноголосице? Заниматься методологией и … писать предисловия.

В.Н. Брюшинкин,
доктор философских наук, профессор

---

[5] «Европейская и российская идентичности: границы Европы и России» (Калининград, 30 октября – 1ноября 2002 года); «Культура и идентичность в контексте глобализации: Россия, Европа, США» (Калининград, 13 – 14 февраля 2003 г.).

[6] Однако уже характер обсуждения результатов этих исследований на упомянутых семинарах и тот факт, что они собраны под одной обложкой в настоящем издании, порождают надежду.

I

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

В.Н. Брюшинкин

К МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА ПОНЯТИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

Тема идентичности принадлежит культурологии, социологии и социальной философии. Однако, если мы хотим получить обоснованные суждения об идентичности, это понятие должно быть подготовлено для применения в этих дисциплинах. Поэтому прикладным исследованиям идентичности должен быть предпослан логико-методологический анализ. В данной статье будет дан некоторый пример такого рода исследования и затем продемонстрированы его возможности по отношению к понятию европейской идентичности.

1. Логический анализ понятия идентичности.

Логический анализ связан с реконструкцией *логической формы высказываний* об идентичности. В каких же высказываниях выражаются наши суждения об идентичности? Приведу примеры такого рода высказываний:

Я – калининградец.
Я есть Я.
Петров русский.
Англичане – европейцы.

Всё это высказывания формы

S есть P,

т.е. простые атрибутивные высказывания, имеющие субъектно-предикатную структуру. Высказывания об идентично-

сти отличаются от других высказываний того же типа, таких, как «Иван – добрый человек» или «Калининградские женщины красивы». Два последних высказывания мы обычно не относим к высказываниям об идентичности, хотя и здесь можно было бы сказать, что мы идентифицируем Ивана в рамках некоторого класса добрых людей, а калининградских женщин относим к классу красивых людей. Таким образом, специфика высказываний об идентичности, их отличие от других высказываний той же логической формы связаны с тем, какого рода понятия играют в них роль субъекта и предиката. Из приведенных примеров видно, что в высказываниях об идентичности речь идет об индивидах и их общностях определенного типа. Во всех приведенных высказываниях в качестве предиката выступает понятие о некоторой общности людей. Эту характеристику можно считать отличительной чертой высказываний об идентичности. Однако уже приведенные примеры показывают, что существуют различные виды высказываний об идентичности, предполагающие различные способы их обоснования. Основанием для классификации таких высказываний служат различные смыслы связки «есть», выделенные еще Б. Расселом:

1) тождество: *а есть а, или а=а;*

2) отношение включения элемента в класс: *а* есть *B,* или $a \in B$;

3) отношение включения класса в класс: *A* есть *B,* или $A \subseteq B$,

где *a*, *b* – обозначения индивидов, а *A*, *B* – классов (множеств) индивидов.

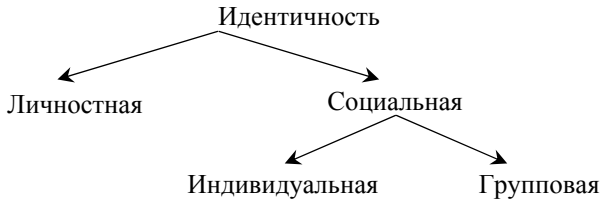
В соответствии с такими смыслами связки «есть» мы можем выделить следующие виды суждений об идентичности.

Личностная идентичность относится к первому виду суждений об идентичности и представляет собой высказывание, являющееся ответом на традиционную философскую проблему тождества личности (personal identity).

Социальная идентичность связана с отнесением индивида или группы (множества) индивидов к какому-либо более широкому общественному целому и связана с двумя последними

видами высказываний. Тем самым социальная идентичность естественно распадается на два вида: *индивидуальную* социальную идентичность ($a \in B$) и *групповую* социальную идентичность ($A \subseteq B$).

Тем самым получается следующая классификация:



1. Личностная идентичность сводится к традиционной философской проблеме тождества личности. Формула личностной идентичности: *Я есть Я*.

Тождество личности – важная философская проблема, широко обсуждаемая в европейской философии, начиная с Дж. Локка, однако для проблемы идентичности, как она обсуждается сегодня в социологической, исторической и другой литературе, эта проблема вряд ли имеет существенное значение.

2. Социальная идентичность имеет непосредственное отношение к современным дискуссиям вокруг идентичности. Как мы уже видели, социальная идентичность распадается на два класса: отнесение индивида к некоторой социальной группе – индивидуальная идентичность, и отнесение некоторой социальной группы к более широкому общественному целому – групповая идентичность.

Формула *индивидуальной* идентичности: *Я* (он) $\in$ *Г*.

Формула *групповой* идентичности: *Мы(они)* $\subseteq$ *Г* , где *Г* – некоторое множество индивидов, составляющих социальную общность.

Из теории множеств известно, что *Г* может быть задано:

- списком,
- при помощи признаков, присущих элементам из *Г*.

Случай списочного задания множества не дает нам никакой информации о идентичности, поскольку принадлежность индивида группе предполагается заранее. Существенным для обсуждения понятия идентичности является способ задания множества при помощи признаков его элементов, который соответствует аксиоме свертывания из теории множеств.

Для установления индивидуальной социальной идентичности необходимо сформулировать набор признаков $F_1, F_2, \ldots, F_n$, присущих элементам из Γ. Для обоснования суждения об идентичности формы $a \in \Gamma$ достаточно показать, что a обладает набором признаков $F_1, F_2, \ldots, F_n$.

2. Культура и идентичность

Другой подход к социальной идентичности основывается на понятии культуры социальной общности, принадлежность к которой рассматривается в акте соотнесения индивида или группы с этой социальной общностью.

Мы будем исходить из предпосылки, что мир, в котором живет отдельный человек и целый народ, является *бесконечно сложным*. Это означает, что для того, чтобы жить в этом мире, приходится прибегать к некоторым его *упрощениям*.

Каждый *народ* в ходе своего приспособления к среде (природному или культурному ландшафту) вырабатывает *навыки*, позволяющие каждому отдельному представителю народа бессознательно обращаться с этой сложностью мира, т. е. совершать действия, которые приводят к успеху, хотя при этом не осознаются все факторы, влияющие на результат данного действия. Такого рода *систему навыков, позволяющих данному народу успешно жить в бесконечно сложном мире, мы и будем называть культурой народа*. Культура выполняет *функцию упрощения мира*, в котором живет данный народ. Вместо бесконечно многих параметров каждого действия, навязываемых сложностью мира, культура подсказывает нам некоторые основные параметры, на кото-

рые надо оказать воздействие, для того чтобы достигнуть планируемого результата.

Таким образом, человек или нация справляются со сложностью мира, изобретая *привычные способы действия*, создавая *над неопределенностью* мира свой собственный мир, в котором постоянное обращение к бытию заменено *привычными бессознательными действиями*, позволяющими выживать и жить в условиях обитания данного человека или народа.

Культура – это *ключевые точки*, связывающие субъекта с миром, и *связи* между ними, созданные самим субъектом.

Если человек умер, то надо плакать и одеваться в черное. Если человек родился, то надо радоваться. Если на день Симона Огуречника хорошая погода, то следует сажать огурцы. Такого рода импликации относятся к культуре и формируют ее. Кант назвал бы их *гипотетическими императивами*.

Каждая культура выделяет:

- некоторое множество *базисных объектов*, оказывающих определяющее влияние на результаты действий;
- *базисные связи* между этими объектами, выражаемые их свойствами и отношениями и закрепляемые при помощи навыков.

Модели мира

Модель мира – это выделяемое субъектом в мире множество представлений объектов и их базисные свойства и отношения.

Мир представляет собой множество объектов, имеющих свойства и вступающих в отношения:

$$M = \langle D, P_1,\ldots,P_n,\ldots \rangle,$$

где D – множество объектов, возможно, бесконечное, а $P_1,\ldots,P_n,\ldots$ – множество, возможно, бесконечное предикатов, представляющих свойства и отношения объектов.

Модель мира – множество знаков, служащих в психике субъекта представителями объектов интересующей его области действительности и определенных на них свойств и отношений.

Символически:

$$Мм = \langle Z, P_1,\ldots,P_k \rangle.$$

Элементы Z представляют собой знаки, представляющие (некоторые) объекты из D, а $P_1,\ldots,P_k$ – некоторое конечное подмножество $P_1,\ldots,P_n,\ldots$.

Модель мира всегда есть упрощение самого мира, т. е. *Мм* гомоморфна *М* [1, 2].

Сопоставление понятия культуры, рассмотренного выше, и понятия модели мира порождает следующий тезис: *В основе каждой культуры лежит некая модель мира*.

В таком случае:

• два человека принадлежат одной и той же культуре, если у них одинакова модель мира;

• суждение об индивидуальной социальной идентичности $a \in Г$ обосновано, если показано, что *а* обладает моделью мира, встроенной в *Г*.

3. Пример конструирования индивидуальной социальной идентичности

В настоящее время ведется обширная дискуссия о понятии «европейская идентичность». Не вдаваясь в детали этой дискуссии и основываясь на предложенном в разделе 1 теоретико-множественном подходе, попытаемся найти такие признаки, которые могут *количественно* варьироваться в рамках отдельной европейской культуры, но присущи ей как необходимые составляющие понятия «европейскость».

Признаки «европейскости»

• Быть рационалистом (стремиться рационально планировать свои действия и приводить разумные основания для их оправдания).

• Создавать и поддерживать культуру как способ упорядочивания хаотичного бытия.

• Зависеть от достигнутого уровня цивилизованности.

• Стремиться к необратимому социальному, техническому и культурному прогрессу.

• Зависеть от благоустроенного быта.

• Настаивать на универсальности своих ценностей.

• Стремиться быть профессионалом в избранном виде деятельности.

• Стремиться к обладанию максимальной информацией для принятия решения.

• Стремиться к автономии личности, к индивидуальной свободе.

• Рассматривать отличные от своих нравы как варварские.

• Обладать мерой в удовольствиях и страданиях.

Конечно, по отношению к этому списку признаков возникает вопрос, необходим ли каждый из этих признаков и достаточны ли они в совокупности для того, чтобы отличить европейскую идентичность от других идентичностей? Я попытаюсь ответить на этот вопрос «от противного». Применим к выделенным признакам «европейскости» логическую операцию отрицания. Тогда получится следующая система признаков.

Отрицания признаков «европейскости».

• Доверять не рациональному мышлению, а бытию.

• Предпочитать упорядоченности культуры хаос бытия.

• Не зависеть от уровня цивилизации.

• Находиться в ситуации обратимости любых социальных, культурных и технических изменений.

• Не зависеть от благоустроенного быта.

• Быть терпимым по отношению к другим системам ценностей.

• Не стремиться быть профессионалом.

• Не стремиться к информированности для принятия решения, а сразу переходить к действию.

• Обладать не выражаемой рационально связью с другими членами сообщества.

• Быть терпимым к чужим нравам.

• Не обладать чувством меры в удовольствиях и страданиях.

Отрицания признаков европейской идентичности образуют характеристику другого типа идентичности, который сильно напоминает самоидентификацию носителей русской культуры [3]. Если принять такого рода отношения между европейской и российской идентичностями, то получается отрицательный ответ на вопрос, является ли Россия частью Европы.

Предложенный подход к методологии анализа понятия идентичности и частный случай его применения к конструированию европейской идентичности представляют собой только начало исследования. Для продолжения этого исследования должны быть решены следующие задачи:

A. Выделить большие блоки явлений, описывающих жизнь, культуру, образ мышления европейца, дающих общее представление о предмете исследования.

B. Сформулировать набор признаков, совокупность которых описывает «европейскость», и разбить их по группам.

C. К группам признаков привязать систему индикаторов, позволяющих анализировать социальные группы и отдельные личности на предмет «европейскости».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Брюшинкин В.Н.* Системная модель аргументации // Трансцендентальная антропология и логика: Тр. междунар. семинара «Антропология с современной точки зрения» и VIII Кантовских чтений / Калинингр. ун-т. Калининград, 2000. С. 133 – 155;

2. *Брюшинкин В.Н.* О реконструкции моделей мира на основе системной модели аргументации // Личность. Познание. Культура. К 70-летию Л.А. Микешиной. М.: МПГУ, 2002. С. 171 – 196.

3. *Брюшинкин В.Н.* Русская жизнь и демократия: фрагменты феноменологии русской души // Демократия в России и Европе: философское измерение / Под ред. В.Н. Брюшинкина. Калининград: Изд-во КГУ, 2003. С. 32 – 51.

В.В. Носков

ПОНЯТИЕ «ИДЕНТИЧНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: ПРАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНА

Понятие выступает как таковое в языковом облике термина, то есть ясно очерченного слова с однозначно отграниченным значением. Однако каждый знает, что терминологизированная речь, равная по своей точности, скажем, операциям с математическими символами, невозможна.

Ганс Георг Гадамер

В современной науке терминологическая проблема приобретает ключевое значение. По мере углубления специализации и прогрессирующей фрагментации исторического знания происходит стремительное расширение используемого историками понятийного аппарата, что само по себе создает большие, а нередко и непреодолимые трудности. В одинаковые по виду слова зачастую вкладывается совершенно различный смысл. Хрупкое конвенциальное согласие, складывающееся в момент введения того или иного термина в лексикон историков, мгновенно разрушается, как только начинается его экспансия. В результате представители одной, казалось бы, профессии, общаясь формально на одном языке, все менее и менее понимают друг.

Между тем один из умнейших людей минувшего века указывал: «Проблема понимания обретает в последние годы все возрастающую актуальность, что очевидным образом связано с обострением геополитической и общественно-политической ситуации и с усилением пронизывающих нашу эпоху противоречий» [1, с. 43]. Другой великий мыслитель буквально заклинал: «Условимся в употреблении слов, чтобы избежать со-

вершенно лишних и праздных споров о словах» [2, с. 226]. Известный писатель предлагал ввести в учебных заведениях «критическое исследование значения слов». «Знание семантики, – полагал он, – может оказаться для наших детей надежной защитой от беспросветной галиматьи, которая мешает миру освободиться от его теперешнего слабоумия» [3, с. 441].

То обстоятельство, что в настоящее время происходит кардинальный пересмотр исторических понятий, крайне осложняет ситуацию с изучением и преподаванием истории [4, с. 21]. В системе исторического образования со всей остротой встала проблема «выработки единого понятийного поля», приведения используемых понятий в соответствие с общими концептуальными установками [5, с. 21]. Не случайно, что на проходившей в конце 1999 г. конференции по интеллектуальной истории такое большое внимание было обращено на «проблему языка истории», актуальную для всей современной историографии в целом. Особое значение придавалось базовым категориям, образующим «сетку познавательных координат» историка [6, с. 249 – 251].

Для отечественной историографии проблема осложняется тем, что нередко ее понятийный аппарат некритически заимствуется из зарубежной исследовательской практики, отражающей иную историческую реальность, в результате чего специфически российские особенности не получают адекватного отражения. По наблюдениям германского историка, все без исключения учебные пособия, появившиеся в последние годы в России, «представляют собой идеосинкретическую смесь из порой неосознанно, но всегда некритически воспроизводимых положений советской историографии» и «столь же некритически развиваемых либеральных воззрений», а в итоге все они «характеризуются слабой структурированностью мысли» [7, с. 74 – 75]. Современный российский историк совершенно справедливо расценивает этот «терминологический импорт» как симптом «колониального сознания, с его глубоко укоренившимся кризисом собственной идентичности, с его неверием в творческие способности собственного языка, с его недоверием

к собственной истории и собственным системам отсчета» [8, с. 37 – 38]. Проблема «перевода основных концепций и идей зарубежной науки» вошла, таким образом, в число первоочередных для отечественной историографии [9, с. 433].

В числе новых терминов широкое распространение получило ныне понятие «идентичность», однако какая-либо определенность относительно его содержания отсутствует. Между тем давно стоит задуматься, какой же смысл вкладывают историки в понятие «идентичность», вводя его в исследовательский оборот. При его употреблении, как указывал известный французский мыслитель, прежде всего «важно устранить значительную семантическую двусмысленность, угрожающую понятию идентичности». Парадокс состоит в том, что мышление имеет дело с понятием, в котором смешиваются два значения: идентичности с самим собой и идентичности как того же самого. Однако уже эта антиномия «представляется одновременно неизбежной и неразрешимой» [10, с. 19 – 20].

Помимо этого сохраняются большие различия в понимании термина в разных языках. Отечественная историография испытывает в настоящее время наибольшее давление со стороны англоязычных социальных наук с их специфической терминологией, поэтому вошедшее в русский язык понятие «идентичность» по своему смысловому наполнению ближе всего английскому *identity*. Для него характерен вообще свойственный английскому языку широкий и продолжающий расширяться день ото дня смысловой диапазон, что имеет обратной стороной наименьшую, по сравнению с другими языками, семантическую определенность. Количество смыслов возрастает в процессе использования термина представителями различных научных дисциплин, в лексиконе каждой из которых (например, философии) знакомый на первый взгляд термин обретает собственную семантику, зачастую неведомую «непосвященным».

Наибольшей определенностью и конкретностью обладает немецкий термин *Identitat*. В Германии уже в 1970 – 1980-е гг. была создана обширная литература по теории идентичности.

Один из наиболее известных современных германских мыслителей отождествляет идентичность с «исторической индивидуальностью», подчеркивая именно исторический характер идентичности. Г. Люббе идет от понятия личной идентичности (Identitat von Personen), но показывает, что ею обладают «вообще все рефлексивные системы». При этом «коллективные и институциональные субъекты также идентифицируют себя через историю». Сам историзм, рассматриваемый как определяющая характеристика современного мировоззрения, определяется им как «специально организованная и исторически беспрецедентная по размаху и интенсивности культура историографического изображения собственной и чужой идентичности» [11, с. 108 – 112].

Обращение к французскому *identite* вновь сталкивает нас с расширительным толкованием термина, при этом набор смыслов несколько отличается от смыслового наполнения английского *identity*. В процессе заимствования термина и дальнейшего его использования в русском языковом контексте все это изначально существующее национальное и профессиональное многообразие смыслов практически не принимается во внимание. А попав в русскую языковую стихию с ее собственными закономерностями развития, понятие «идентичность» обретает новую жизнь, поэтому уловить его общий смысл, привести различные смысловые значения к общему знаменателю или выстроить хоть какую-нибудь классификацию становится окончательно невозможным. Таким образом, единственное, о чем можно вести речь, – это эмпирическая практика использования данного (как и любого другого) понятия в исторических исследованиях.

Проблема интерпретации понятия «идентичность» усложняется еще и тем, что социальные, этнические, профессиональные, половозрастные и иные группы в процессе самоидентификации вырабатывают собственные языковые модели, еще более затрудняющие изучение отражаемой в языке исторической реальности [12, с. 56].

Для историков вопрос об идентичности приобретает особый смысл в связи с тем, что в эпоху постмодерна они столкнулись с проблемой кризиса собственной профессиональной идентичности [13, p. 1]. «Постмодернистская парадигма», отмечает ведущий отечественный специалист по современной историографии, поставила под сомнение «само понятие об исторической реальности, а с ним и собственную идентичность историка» [14, с. 226 – 227]. В последней трети XX в., пишет ее коллега, когда профессия историка на Западе оказалась в «состоянии постмодерна», понимание историками своих задач «осложнилось ощущением кризиса профессиональной идентичности». Между тем, историография всегда отстаивала статус особой дисциплины, «со своей идентичностью и автономией в системе гуманитарных дисциплин. Более того, сама академическая практика историков оказывается способна поддерживать этот статус и контролировать профессиональную идентичность.» А изучение «особенностей самосознания историков в контексте меняющейся академической культуры дает основания полагать, что проблемы личностной и групповой идентификации … во многом определяют облик профессиональной историографии» [15, с. 250, 261, 264].

«Национальные идентичности до сих пор воодушевляют все версии историографии», – заключал крупнейший специалист в этой области М. Бентли [16, p. 495]. Идентичность превратилась в одну из центральных проблем современной историографии и в содержательном смысле. В сочетании и в тесной связи с проблемой социальной памяти, с одной стороны, с устной историей и нарративом – с другой, она вышла в центр внимания историков. Поиски всякого рода идентичностей занимают важнейшее место в новой, «гендерно-ориентированной» историографии. А под воздействием событий в бывшей Югославии особое значение приобрела также проблема «кризиса исторической идентичности» [17, p. 151 – 153; 18].

Огромное место, занимаемое проблемами идентичности в современной историографии, подчеркивает и другой авторитетный эксперт. Историки манипулируют прошлым, а посред-

ством этого – персональными и национальными идентичностями, указывал он. Но эти манипуляции, в свою очередь, вызывают необходимость адаптации к идентичностям других, поскольку все определяют себя по отношению к этим другим. В этом британский историк видит важнейшее подтверждение значения истории для общества: она «необходима как существенная часть образования, воспитывающего чувство национальной идентичности». И в первую очередь политические истории создают основы «наций и их национальных идентичностей». Ориентируясь преимущественно на «конструкционистскую» концепцию идентичности, он полагает, что история помогает формировать «идентичности, с которыми мы хотим или должны ассоциироваться». Конструируемые таким образом идентичности отражают представления о том, какими «мы хотим быть». «Идентичности, – заключал Б. Саутгейт, – формируются не только нашим прошлым, нашими историями, но также и нашими представлениями о будущем» [19].

Не случайно, что проблемы идентичности заняли заметное место в программе последнего международного конгресса историков в Осло, где им была посвящена специальная сессия: «Память и идентичность: как общества конструируют и управляют своим прошлым?». Важность данных проблем хорошо показал организатор секции, бразильский историк Э. Де Резенде Мартинс. В последнюю четверть века, указал он, мы стали свидетелями мощного проявления «коллективной идентичности, которая бросает вызов глобализации и космополитизму во имя культурного своеобразия и права народов самим определять свою жизнь». В его выступлении подчеркивался именно исторический характер формирования «коллективной/социальной идентичности». Следуя в основном «процессуально-конструкционистской» теории идентичности М. Кастеллса (автор книги «Власть идентичности», 1998), Де Резенде Мартинс тем не менее признает существование неких изначальных, самовоспроизводящихся во времени и пространстве «основополагающих идентичностей», с одной стороны, и сознательно конструируемых на базе неких «традиционных» ори-

ентированных в будущее «проектируемых идентичностей» – с другой [20, p. 131 – 133].

Особый интерес участников конгресса вызвали доклады Й. Рюзена (Германия) «Память о Холокосте и германская идентичность – три формы поколенческих практик» и М. Циммермана (Израиль) «Память о Катастрофе и о Победе и израильское общество». Другие доклады были посвящены различным аспектам формирования австралийской, аргентинской, бразильской, чилийской, индийской идентичностей, коллективной идентичности басков [20, p. 134 – 135; 21, с. 11 – 13]. Проблемы идентичности рассматривались также на других сессиях. В частности, открывая одно из трех главных заседаний конгресса на тему «Использование и злоупотребление историей и ответственность историков», признанный знаток современной историографии Г.Г. Иггерс подчеркнул решающую роль истории в формировании и сохранении коллективных идентичностей [20, p. 83 – 86; 22, с. 241, 244 – 245]. Х. Лемберг (Германия) обратил внимание на сохранение существенных различий между идентичностями народов к западу и к востоку от линии, отделявшей до недавнего времени страны бывшего соцлагеря от остальной Европы [23, p. 349]. Вниманию участников конгресса были представлены также доклады на такие экзотические темы: «Регионализм в формировании ″северокамерунской″ идентичности»; «Случай насильственной ассимиляции: проигранная битва гугенотов за культурную идентичность в Капской колонии. 1687 – 1726»; «Региональные идентичности и наднациональные культуры на Балтике».

В последние годы широкое распространение в западной историографии получили исследования о «русской идентичности». Типичным примером может служить работа германской исследовательницы Бетины Зибер, изучавшей взаимосвязь «русской идеи» и идентичности в общественной мысли постперестроечной России, где, по ее мнению, «после обвала социалистической идеологии дискуссия о ″русской идее″ служит образованию новой русской идентичности на основе традиционных русских ценностей» [24, с. 6, 11 – 12]. Автор при-

держивается теории образования идентичности, выработанной германскими педагогами Х.П. Фраем и К. Хауссером. Согласно их концепции, «идентичность и формирование идентичности формально описывается как продиктованное собственной ответственностью деяние индивидуума» [24, с. 12, 15 – 16]. Таким образом, мы сталкиваемся с крайним примером «конструкционизма», с максимально рационализированной концепцией идентичности. Неудивительно, что с этой точки зрения дискуссии о «русской идее» и попытки извлечь из нее «новую русскую национальную идентичность» представляются как образец «злоупотребления мифической коллективной идентичностью». По мнению автора, в России преобладает «тенденция к предпочтению мифически структурированной национальной идентичности» и формируется «мифическая идентичность», питаемая общей историей [24, с. 16, 18 – 21, 34 – 35, 42]. Зибер с сожалением отмечает очевидную неудачу рационального подхода к проблеме образования новой русской идентичности [24, с. 22, 25, 46]. Таким образом, ею, с немецкой основательностью, сначала дается строго «научное», рациональное определение идентичности, а затем успешно «доказывается», что «мифологические» версии русской идеи этому определению не соответствуют, а потому «русская идея» – ложная идея. Книга Зибер представляет собой наглядный пример идеологического, даже чисто пропагандистского использования термина.

В Великобритании к той же проблеме обратился известный знаток русской истории Д. Ливен. Однако насколько удачной была его выдержанная в традиционной историографической манере монография «Россия и происхождение Первой мировой войны» (1983), настолько же неудачной оказалась попытка обращения британского историка к модной проблематике. Если работу Зибер отличает концептуальная целостность, то статья Ливена представляет собой яркий пример прямо противоположного характера. Свойственный британской историографии эмпиризм проявляется здесь самым наглядным образом. По мнению автора, «национальную иден-

тичность можно рассматривать как идентичность, организованную между двумя полюсами – политическим и культурным». Однако он не проводит необходимого в таких случаях различения между двумя этими понятиями, а по ходу изложения оперирует как практически равнозначными и взаимозаменяемыми понятиями «русская национальная идентичность», «русская идентичность», «русская политическая идентичность», «легитимная политическая идентичность», нация как «идентичность граждан», «имперская идентичность». Затем в том же ряду появляется «специфическая советская идентичность», «подлинным вместилищем» которой становится уже не нация, а класс, но на смену которой вскоре приходит «общерусская идентичность»; затем – «русская культурная идентичность» и, наконец, «русская постсоветская и постимпериалистическая политическая идентичность». Такое многообразие разнопорядковых терминов запрограммировано уже самим названием статьи, в котором нашли отражение идентичности разных типов – этническая, политическая, идеологическая, формирующиеся на несколько разных основаниях. Параллельно с этим стержневым понятийным рядом в статье используются такие понятия, как «колониальная идентичность», «идентичность, в которую входила родная деревня», «отдельная от метрополии сибирская или казацкая политическая идентичность», «национальная идентичность» аннексированных Сталиным областей. В этом дополнительном ряду смешение понятий и смыслов продолжается, а к этнической, политической, социальной и культурной по своим основам идентичностям добавляются еще идентичности локальные, региональные, территориальные. При этом последние противопоставляются не более масштабной идентичности, а «метрополии», то есть понятию из совершенно иного типологического ряда. В другом случае в оппозицию идентичности ставится «этнический национализм» [25, с. 289 – 310]. Получается, что на разных этапах своего развития население России и отдельных ее областей обладало идентичностями различного типа, а не историческими формами единой по происхождению националь-

ной или региональной идентичности. Теоретическая беспомощность автора проявилась таким образом в том, что, претендуя на рассмотрение последовательных этапов развития единой «национальной идентичности», на самом деле он просто описал конгломерат фактически равноценных и взаимоперетекающих друг в друга, но различных идентичностей.

Поисками разного рода «идентичностей», преимущественно в предреволюционной России, с разной степенью успеха занялись в последнее время и американские историки. Достаточно упомянуть в связи с этим труды патриарха американской русистики Л. Хэймсона «Проблема социальных идентичностей в России начала XX века» (1988) или его более молодого коллеги Р.П. Герачи «Окно на Восток: национальная и имперская идентичности в царской России позднего периода» (2000), а также сборник статей «Между царем и народом: образованное сообщество и поиски общественной идентичности в позднеимперской России» (1991). Проблемам новой русской идентичности уделяется немало места и в бестселлере С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Однако основное внимание американские историки направили на поиски всевозможных идентичностей в собственном обществе. После «восстания масс» в американской историографии 1960-х годов эта проблема приобрела в США гораздо большую актуальность, чем в любой другой стороне. И теперь одни историки продолжают дробить и без того разбитое вдребезги в ходе «историографической революции» единое прошлое собственной страны, множа количество всевозможных социальных, этнических, конфессиональных, гендерных и прочих идентичностей. Другие их коллеги, наоборот, срочно пытаются найти общеамериканскую идентичность, способную сплотить нацию в непростые для нее времена.

Интерес к идентичности проявился в первую очередь в тех областях, которые оказались наиболее подверженными влиянию психологии и социальных наук. Как известно, понятие «идентичность» появилось первоначально именно в психологии, откуда оно начало победное шествие по территории сна-

чала социальных и политических наук, а затем вторглось и в область гуманитарного знания. Уже в 1959 г. в США появился коллективный труд на эту тему под названием «Идентичность и стиль жизни». С начала 1960-х годов понятие было взято на вооружение историками, занимающимися историей иммиграции, национальных, расовых, а затем – и иных меньшинств, для каждого из которых требовалось отыскать собственную идентичность в отличие от общеамериканской. Таким образом, новый термин стал мощным орудием нового поколения историков в их борьбе против господствовавшей прежде историографии «консенсуса», а его активное использование превратилось в средство неограниченной фрагментации национального прошлого. Новый аналитический инструмент оказался очень эффективным, в частности, при разрушении знаменитой теории «плавильного котла», в противовес которой выдвигалась концепция всепобеждающей «этничности». Благодаря этому, не успев родиться, «американская идентичность» распалась на «итало-американскую», «германскую», «финскую», «мексиканскую» и прочие этнические идентичности. Затем к ним добавилась «транс-эническая идентичность» рабочего класса, а в последние годы появились различные концепции «коллективных», «составных», поли- или межэтнических идентичностей. Сохранила свои позиции и основанная на понятии «раса» концепция «афро-американской идентичности» [26, p. 140 – 146].

Историки, работавшие в традиционных областях исторического знания, оказались менее подверженными моде на новые слова, но со временем и они научились использовать понятие «идентичность» в своей исследовательской практике. В частности, очень серьезные попытки в этом направлении предпринимаются в историографии ранней американской истории. В соответствии с духом времени первоначальный интерес привлекли черные рабы в колониальной Америке, вынужденные одновременно переживать и потерю собственной «культурной идентичности», и приспособление к «очень жестокой социальной системе» [27, p. 243]. В начале 1990-х годов

известный специалист по ранней американской истории констатировала: «Национальная идентичность также вовлечена в исторические исследования, поскольку то, что мы думаем относительно того, что мы представляем как нация, теснейшим образом связано с тем, как мы понимаем, что мы сделали и во что мы верили как народ». В соответствии с новейшей на тот момент концепцией «мальтикультурности» в ее обзоре как уже общепризнанный присутствует термин «мальтикультурная идентичность» [28, p. 266 – 267].

Джойс Эпплби внесла и собственный вклад в изучение проблемы, утверждая, что национальная идентичность революционного поколения американцев была основана на их ощущении собственной исключительности, а в последующем созданная таким образом «идентичность лишила прав иные способы интерпретации смысла Соединенных Штатов» [29, p. 420]. Несколько по-иному к этой проблеме подошел другой именитый историк, Дж. П. Грин, автор работ «Интеллектуальное строительство Америки: исключительность и идентичность с 1492 по 1800 г.» (1993) и «Империя и идентичность от Славной революции до Американской революции» (1998). Он не склонен преуменьшать значение этнических или региональных идентичностей в колониальном обществе, а также роль британского культурного и политического наследия в американском сознании [30, 31].

П.С. Онаф, автор исследования о соотношении категорий «раса», «рабство» и «национальная идентичность» в воззрениях Т. Джефферсона (1998), предложил собственную концепцию генезиса американской идентичности. Согласно ей, имперский кризис второй половины XVIII в. привел к укреплению у населения колоний чувства «коллективной идентичности существования в империи». Первое поколение американских патриотов выступало за «утверждение британской идентичности», совпадающей с пределами империи. Постепенно сформировалась тенденция осознавать себя как особую группу с «общей трансцендентной идентичностью» в границах единой Британской империи. Именно империя обеспечила

«концептуальный каркас для возникшего осознания американской идентичности». «Американская национальная идентичность возникла из имперской идеи, – утверждает Онаф, – американцы были ″народом″, идентичность которого основывалась на их неспособности и нежелании разрешить полярные претензии целого и его частей». Эти противоречия поддерживали «дух 1776 г. и идею всеобщей имперско-национальной идентичности». Затем пришедшие в 1800 г. к власти республиканцы начали утверждать «рассеянную и децентрализованную национальную идентичность, постоянно освежаемую мобилизациями избирателей». Их «тщательно республиканизированная империя превратилась в нацию». Но эту новую империю Джефферсон возводил уже на фундаменте «радикально отличной американской национальной идентичности». А она основывалась на «расовой идентичности», которая сама являлась синтезом «″наций″ и ″рас″ европейских иммигрантов, при том, что эти термины не были четко определены для современного употребления» [32, с. 78 – 91].

Однако никакие старания найти в истории основания для общеамериканской идентичности не могли принести успеха в условиях преобладания «новой исторической науки», не оставившей от нее камня на камне. Указав на «потерю веры в реальность общей американской идентичности», крупнейший специалист по историографии США Дж. Хайэм заключал: «До сего дня историки Соединенных Штатов сделали очень мало для того, чтобы осознать эти агрессивные вызовы национальной идентичности» [33, p. 1289, 1299]. Это заключение приобретает особый смысл в ситуации, наглядно представленной в знаменитом сочинении С. Хантингтона о глобальном столкновении цивилизаций. В существующей литературе недооценен тот принципиальный факт, что вся историческая концепция Хантингтона построена на понятии «культурная идентичность».

В период мировой истории, наступивший после «холодной войны», «культурная идентичность является тем, что обладает наибольшим смыслом для большинства народов», полагает

Хантингтон, тонко подметив при этом, что народы современного мира открывают для себя не столько новые, сколько «старые идентичности». Растущая мощь «не-западных» цивилизаций стимулирует возрождение их местных, «туземных идентичностей». Главной тезис его книги заключается в том, что «культурные идентичности, которые в наиболее широком смысле представляют собой цивилизационные идентичности», определяют способы взаимодействия народов в современном мире. Выживание Запада в новых условиях зависит, по мнению Хантингтона, от осознания его соотечественниками не американской даже, а более широкой «западной идентичности» [34, p. 19 – 20, 125, 128 – 130]. «Цивилизационные идентичности», в его представлении, определяются как объективными факторами (язык, история, религия, обычаи, институты), так и «субъективной самоидентификацией народа». При этом каждый народ обладает различными «уровнями идентичности», целой их иерархией, в которой уровень цивилизационной самоидентицфикации является наивысшим [34, p. 43, 128 – 129]. В 1990-е годы в мире разразился «глобальный кризис идентичности», полагает Хантигтон. В этой ситуации «устоявшиеся идентичности» постепенно разрушаются, а взамен них ведется интенсивный поиск «новых исторических идентичностей». А основным системообразующим фактором в процессе «переопределения идентичностей», по его мнению, выступает религия [34, p. 97, 116, 125, 139, 267 – 270; 35].

Поскольку «идеология и класс приходят в упадок в качестве источников политической и социальной идентичности, – писал Хантингтон в другой работе, – этничность и религия, вероятно, приобретут более важное значение как в развитых, так и в более отсталых странах». Причем в большинстве случаев они превратятся в «альтернативные источники идентичности», которая создаст серьезные проблемы для властей ныне существующих государств [36, p. 144]. Процесс обретения новых идентичностей неизбежно сопровождается кровавыми столкновениями, так как войны «коренятся в идентичностях народов», причем их ожесточенность все более нарастает, до-

ходя до уровня геноцида, поскольку «на кону находятся фундаментальные вопросы идентичности». В связи с этим Хантингтон вводит понятие «identity war», относя к их числу большую часть происходящих в современном мире гражданских войн («identity civil war») [34, p. 252 – 255, 266 – 270]. В заключение он предостерегает: неоднократно лидеры тех или иных народов пытались «поменять идентичность их страны с одной цивилизации на другую. Вплоть до сегодняшнего дня ни в одном случае они не добились успеха, а порождали взамен этого шизофренические расколотые страны» [34, p. 306].

Понятие «идентичность» все больше проникает и в отечественную историографию. Нередко оно используется для характеристики современной исторической ситуации в России («кризис идентичности»), а также для описания путей выхода из нее («переопределение содержания коллективных представлений (например, этнокультурной идентичности)»). При этом проблемы идентичности рассматриваются во взаимосвязи с уровнем исторических знаний в обществе и состоянием исторического образования [37, с. 446; 38, с. 185 – 187].

В целом же знакомство с современной российской историографией на предмет использования в ней понятия «идентичность» оставляет удручающее впечатление. Так, если верить некоторым современным авторам, еще в XIX в. «средние слои русских горожан» были озабочены поисками своей «городской идентичности» [39]. Между тем само содержание статьи, в которой речь идет о вполне привычных вещах, не подтверждает этот тезис. Налицо пример явной модернизации исторических процессов ради возможности блеснуть модным термином. Точно так же, согласно новейшим интерпретациям, русская мысль, начиная с П.Я. Чаадаева, только тем и занималась, что искала свою «национальную идентичность» [40, 41]. Однако использование нового термина не помогает авторам таких работ в создании нового знания. То, что они поведали читателю, можно описать посредством любой другой терминологии или даже без использования оной, например, на языке их героев, который гораздо адекватнее предмету исследова-

ния, а по богатству выразительных средств намного превосходит новояз нынешних беллетристов от истории.

Особенно мрачное впечатление производят попытки теоретизирования на темы «идентичности». Показательным примером может служить статья В.М. Пивоева, предлагающего не больше и не меньше, чем «идею интерпретации истории в свете систем ценностей, адекватно выражающих идентичность человека и общества». Прежде всего, автор оказывается не в состоянии провести различие между собственно «идентичностью» как неким определенным состоянием и «идентификацией» как процессом достижения этого состояния. Пытаясь развести между собой понятия этнической и национальной идентичности, он проводит такое различие: этнос – «это народ, осознавший свою идентичность, а нация – это народ, осознавший свою идентичность и защищающий себя с помощью государства». Если попытаться представить себе, как такие «идентичности» будут совмещаться в сознании одного человека, диагноз очевиден – шизофрения. На основе такого рода теоретических достижений автором характеризуется «региональная идентификация в условиях Европейского Севера России», хотя формулируются «принципы региональной идентичности», причем такие, которые применимы к любому региону и ко многим типам идентичности, помимо региональной: «взаимодействие и единство интегративных и дифференцирующих факторов; толерантность; органичность; многомерность» [42, с. 348 – 354]. С точки зрения понимания сути хоть какой-нибудь идентичности итог, как мы видим, нулевой. Другой «теоретик» изобретает некие «машины всеобщности», которые, по его убеждению, «создают и поддерживают *культурную идентичность*, т.е. самотождественность культуры в пространстве и времени». Правда, никто, кроме самого автора, по его собственному признанию, этого не осознает [43, с. 28]. Ничего удивительного, с таким же успехом можно изобретать машину времени или вечный двигатель – вряд ли кто-нибудь «осознает» их пользу.

Крайний случай теоретизирования того же рода – поток сознания петербургского политолога В.К. Крамника. В его представлении идентичность – это и «осознание себя и мира», и «форма самосознания граждан», и «руководство», и «идеология», и «цивилизация», и «тип цивилизации», и «реванш Бога», и «возврат к корням», и «суверенизация», и «борьба элит», и «расколотая страна», и «история», и «″Родина″, ″страна″», и «территория», и «протестантизм», и «православие», и «ислам», и «Европа», и «Запад», и «современность», и «Евразия», и «″западно-евразийский″ синтез», и «сепаратизм», и «″стержневое″ православное государство», и «″синдром братских стран″», и «″значимые свои″», и «″значимые другие″», и «антиамериканизм», и «сильная, великая держава», и «выживание». Со всей серьезностью автор рассматривает такие сюжеты: «Идентичность как ″кризис идентичности″», «Идентичность как ″смена идентичности″», «Идентичность как система идентичностей». Перед читателями ставятся такие вопросы: «Идентичность как ″расколотая страна″?», «Идентичность как доминирование или баланс религий?», «Идентичность как доминирование или равноправие культур, цивилизаций?» А вперемешку с винегретом из «идентичностей» предлагается широкий ассортимент не менее экзотических «идентификаций»: «Идентификация как ″принуждение к демократии″«, «как демократизация», «как властная вертикаль», «как православная цивилизация», «как коалиция стран-лидеров основных цивилизаций». В заключение предлагается «Идентичность: выводы для власти, бизнеса и общественности» [44]. Комментарии, думается, излишни.

Современная историография дает немало примеров более осмысленных, но не менее экзотических «идентичностей». Например, британский историк еще в 1960-е годы предложил понятие «*ошибочная идентичность*» [45]. Современному российскому историку бывшая Югославия представляется как «несложившаяся региональная идентичность» [46, с. 521]. В другом тексте появляется идентичность, которую можно оп-

ределить как «электоральная»: «Идентичность – это осознанное самоопределение избирателя. Она основывается на признании идейной, организационной и этнокультурной общности между избирателями и участниками выборов» [47, с. 29]. «Новое мышление» времен перестройки породило такой шедевр творческой мысли: «Идентичность, основанная на вынужденном включении в общности, субъектом которых человек не является» [48, с. 32]. Другой суперсовременный ученый словарь кроме простой «гендерной идентичности» описывает еще и «нормальные гендерные идентичности», основанные на «предопределенной анатомически половой идентичности», помимо которой существуют также полоролевая и сексуальная идентичности [49, с. 32]. Естественно, что в таком словаре представлены женская и мужская идентичности, отражена «гендерная идентичность инвалидов», но особое восхищение вызывает «гендерная идентичность творческой личности» [50, с. 35 – 37]. Непонятно только, почему перечень имеющих отношение к гендеру идентичностей ограничивается этим скромным набором. Последний пример показывает, что конструирование всякого рода идентичностей можно продолжать до бесконечности. Следуя по такому пути, любой проблеск человеческой мысли о самом себе можно возвести в ранг особой «идентичности». Вопрос только: зачем? Уже только в силу своей многочисленности и неопределенности большинство таких понятий никогда не будет и не может использоваться в качестве аналитического инструментария.

Если от теории перейти к практическим рекомендациям, то и здесь дело обстоит немногим лучше. В нашем ученом сообществе сохраняются иллюзии, что посредством образования, особенно если использовать американский опыт, у студентов можно целенаправленно формировать правильную идентичность [51]. Вопрос только в том: кто будет решать, какой должна быть «идентичность» будущих педагогов? И что же это все-таки такое? Работникам образования предлагается также заняться конструированием «плюралистической идентичности», под которой подразумевается «сочетание нацио-

нальной культурной идентичности с разделяемой в основных чертах технологической парадигмой» [52, с. 175]. При этом не поясняется, как можно скрестить целую культуру с одинокой «парадигмой», то есть целое с его частью. Другой вариант конструирования «плюралистической идентичности» выглядит так: «В поисках выхода из маргинальной ситуации, в которую скатывается в последнее десятилетие массовое общественное сознание, образование может предложить стратегию формирования многоуровневой социальной идентичности» [53, с. 56]. Идея была бы замечательной, если бы в качестве строительного материала не предлагались «этнонационализм и космополитизм», а в качестве инструмента – «научное знание», в принципе неприменимое к такого рода операциям.

Либеральная мысль подходит к проблеме с рыночных позиций: ей представляется просто «наиболее выгодной для человека множественная идентичность», когда «человек ощущает свою парциальную включенность в значительное число групп среднего уровня, в том числе национальных и культурных» [48, с. 34]. Наверное, действительно было бы удобно «включиться» в пару – другую национальных идентичностей, но ведь далеко не каждому это дано. На данный момент такой способностью обладает лишь единственная на планете и стремительно вымирающая разновидность *homo sapiens* – русский интеллигент. Характеризуя его видовые признаки, известный писатель подчеркнул удивительную «способность настолько проникнуться ценностями чужой культуры, скажем, немецкой монадологией или еврейской мифологией, что он как-то наднационален, хотя и русак от пяток до макушки, и при желании может чувствовать себя как немец или еврей» [54]. Однако правильно ведь сказано: *Quod licet Jovi, non licet bovi*.

На международном конгрессе исторических наук в Осло было представлено шесть докладов, в названии которых фигурировало понятие «идентичность». Примечательно, что ровно в половине из них этим дело и ограничилось – провозгласив изучение какой-нибудь «идентичности» своей целью, авторы тут же забывали о ней, пользуясь при описании конкретной

исторической действительности более определенными терминами. Сходная картина складывается и в российской историографии. Очень часто, вынося понятие «идентичность» в заголовки своих статей, их авторы в действительности не могут воспользоваться им в процессе конкретно-исторического исследования [55]. В большинстве случаев оказывается, что в качестве аналитического инструмента эта категория оказывается совершенно бесполезной.

Хаос и произвол. Этими двумя словами можно охарактеризовать практику употребления понятия «идентичность» в современной историографии, особенно в отечественной. Несмотря на все старания, термин так и не получил не то что общепризнанного, но хоть сколько-нибудь распространенного определения, что открывает полный простор для его субъективистских истолкований. Обычно «идентичность» пытаются определить через другие, столь же неопределенные понятия. В данном случае историки сталкиваются с характерным примером абсолютной релятивизации используемой ими терминологии. Одним словом, «постомодерн» в действии.

С распространением «идентичности» по страницам исторических изданий господствующий в современной историографии «безумный эмпиризм» празднует свою очередную победу. Этот пример еще раз доказывает, что вместо углубленного осмысления истории продолжается бездумная накачка понятийного аппарата историка новой терминологией, чаще всего заимствованной из других областей знания и малопригодной для изучения исторической реальности. Вместо погружения в онтологию исторического бытия продолжаются словесные игрища в совершенно оторвавшейся от реальности сфере гносеологии. Историческое познание по-прежнему продолжает развиваться по наиболее легкому, доступному разумению большинства «дипломированных специалистов» экстенсивному пути «перепроизводства» историографической продукции, когда происходит простое механическое наращивание количества «опубликованных трудов». Количество по-прежнему подавляет качество. Между тем, как уже давно отметил авторитетный нидерланд-

ский мыслитель, настало время для «более осмысленной историографии»: «Пришло время, когда мы должны скорее *думать* о прошлом, чем *исследовать* его» [56, с. 152].

Понимание идентичности зависит в первую очередь то того, как понимается процесс ее создания – как сознательное конструирование или как естественное самосозидание. Одни историки придерживаются первого подхода, другие – второго, и уже одно это затрудняет возможность понимания ими друг друга. Выдвигаются и многочисленные компромиссные концепции, сочетающие конструкционистский подход с признанием возможности саморазвития идентичности. Однако чаще всего какая-либо рефлексия по этому поводу отсутствует вовсе, а в конкретной исследовательской практике предпринимаются малорезультативные попытки некритического применения модного термина к характеристике тех или иных исторических явлений. Результаты, как правило, разочаровывающие. По крайней мере, в России до сих пор не появилось ни одного сколько-нибудь серьезного исторического исследования, основанного на рассмотрении изучаемых явлений через призму «идентичности».

Самое интересное, что в определенных условиях понятие «идентичность» действительно может оказаться полезным. При корректном использовании оно дает возможность понять суть важных исторических явлений (прежде всего при изучении культуры, национального и иных форм сознания), необъяснимых с помощью иных понятий. Это понятие может найти успешное применение и в такой специфической форме познания, как философия истории. Помимо того, понятие «идентичность» может стать эффективным инструментом исторического синтеза, столь необходимого сегодня, в условиях превзошедшей все разумные пределы фрагментации исторического знания. К сожалению, пока чаще всего оно выполняет прямо противоположную функцию и используется как орудие для дальнейшего дробления единой исторической реальности за счет конструирования растущего в геометрической прогрессии множества частных «идентичностей».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гадамер Г.Г.* Язык и понимание // *Гадамер Г.Г.* Актуальность прекрасного. М., 1991.

2. *Бердяев Н.А.* Новое средневековье // *Бердяев Н.А.* Смысл истории. Новое средневековье. М., 2002.

3. *Уэллс Г.* Наука и мировое общественное мнение // *Уэллс Г.* Собр. соч. М., 1964. Т. 15.

4. *Никулина Н.Ю.* Модернизация образования и проблемы преподавания истории в школе и вузе // Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в средней и высшей школе. Калининград: Изд-во КГУ, 2001. Ч. 2.

5. *Андрюхина Л.М.* Подготовка, издание и использование новых учебников, учебных пособий и иных средств обучения в преподавании истории в общеобразовательных учреждениях. Екатеринбург, 1998.

6. *Зверева В.В.* Интеллектуальная история сегодня // Новая и новейшая история. 2000. №5. С. 249 – 251.

7. *Лёве Х.Д.* Российские школьные учебники об эпохе 1862 – 1917 гг. // Россия (1856 – 1917) и Германия (1871 – 1918): две империи в историографии и школьных учебниках. М., 1999.

8. *Ушакин С.А.* «Gender» (напрокат): полезная категория для научной карьеры? // Гендерная история: pro et contra. СПб., 2000.

9. «Новые западники»: модернизация гуманитарных и социальных наук и их преподавания в высшей школе в современной России // Новое литературное обозрение. 2002. №57. С. 433

10. *Рикёр П.* Повествовательная идентичность // *Рикёр П.* Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.

11. *Люббе Г.* Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. №4.

12. *Заботкина В.И.* Новые эвфемизмы в английском языке // Studio. 2000. №4.

13. *Burke P.* Overture. The New History: Its Past and its Future // New Perspectives on Historical Writing. University Park (Penn.), 2001.

14. *Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998.

15. *Зверева Г.И.* Обращаясь к себе: самопознание профессиональной историографии в конце XX века // Диалог со временем. М., 1999. Вып. 1.

16. *Bentley M.* Introduction: Approaches to Modernity: Western Historiography since the Enlightenment // Companion to Historiography. London & N.Y., 1997.

17. *Bentley M.* Modern Historiography. London & N.Y., 1999. P. 151 – 153.

18. *Elshtain J.B.* Feminism and the Crisis of Contemporary Culture // History and the Idea of Progress. Ithaca, 1996.

19. *Southgate B.* Why Bother with History? Harlow, 2000. P. 50 – 51, 55 – 56, 71, 81 – 82, 110, 143, 166.

20. Proceedings. Actes. 19th International Congress of Historical Sciences. Oslo, 2000.

21. *Репина Л.П.* Время, история, память: ключевые проблемы историографии на XIX МКИН // Диалог со временем. М., 2000. Вып. 3.

22. *Муравьева М.Г.* XIX Международный конгресс исторических наук в Осло: на перепутье // Проблемы истории международных отношений и историографии всеобщей истории. СПб., 2002.

23. *Lemberg H.* Boundaries and Identities of Central Europe: Changing Concepts // Proceedings. Actes. 19th International Congress of Historical Sciences.

24. *Зибер Б.* «Русская идея» обязывает!? Поиск русской идентичности в общественных дискуссиях конца XX века. М., 2002.

25. *Ливен Д.* Русская, имперская и советская идентичность // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999.

26. Interpretations of American History. N.Y., 2000. Vol. 2.

27. *Thompson J.R.* The Black as Ironic Immigrant: Self-Perception in the Early Republic // The Early Republic: The Making of a Nation – The Making of a Culture. Amsterdam, 1988.

28. *Appleby J.* A Different Kind of Independence: The Postwar Restructuring of the Historical Study of Early America // William & Mary Quarterly. Vol. L. №2 (April 1993).

29. *Appleby J.* Recovering America's Historic Diversity: Beyond Exceptionalism // Journal of American History. Vol. 79. №2 (September 1992).

30. *Грин Дж. П.* Pluribus или Unum? Этническая идентичность в ранней колониальной Британской Америке // Американский ежегодник 1999. М., 2001.

31. *Грин Дж. П.*, *Жук С.И.* Британская колониальная Америка и Американская революция: переосмысливая опыт империи // Русское открытие Америки. М., 2002.

32. *Онаф П.С.* Американская революция и национальная идентичность // Американская цивилизация как исторический феномен. М., 2001.

33. *Highat J.* The Future of American History // Journal of American History. Vol. 80. №4 (March 1994).

34. *Huntington S.P.* The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order. N.Y., 1997.

35. *Ярцева К.* Что творится в «русской деревне» (о слиянии национальной и религиозной идентификации как источнике конфликтов и борьбе с «сектами») // Реальность этноса. Образование и проблемы межэтнической коммуникации. СПб., 2002.

36. *Huntington S.P.* Political Conflict after the Cold War // History and the Idea of Progress. Ithaca, 1996.

37. *Афанасьев Ю.* Память, история // Опыт словаря нового мышления. М., 1989. С. 446.

38. *Репина Л.П.*, *Зверева Г.И.* История как учебная дисциплина // Преподавание гуманитарных дисциплин в вузах России: состояние, проблемы, перспективы. М., 2001. С. 185 – 187.

39. *Куприянов А.И.* Русский горожанин в поисках социальной идентичности // Одиссей 1998. М., 1999.

40. *Гройс Б.* Поиск русской национальной идентичности // Россия и Германия: опыт философского диалога. М., 1993.

41. *Оболенская С.В.* Русские и европейцы. Поиски русской национальной идентичности у Достоевского // Одиссей 1998. М., 1999.

42. *Пивоев В.М.* Кризис идентичности и методология истории // Диалог со временем. М., 2002. Вып. 9.

43. *Пигалев А.И.* Разрыв в интеллектуальной истории как смена модели всеобщности // Диалог со временем. М., 2001. Вып. 4.

44. *Крамник В.К.* Россия – поиск идентичности // Россия. Планетарные процессы. СПб., 2002.

45. *Stokes E.* Late Nineteenth-Century Colonial Expansion and the Attack on the Theory of Economic Imperialism: A Case of Mistaken Identity? // The Historical Journal. Vol. 12. №2 (1969).

46. *Задорожнюк Э.Г.* Становление новых региональных идентичностей в Европе // Россия. Планетарные процессы. СПб., 2002.

47. *Зарубин В.Г.* Этническая идентичность в гиперпространстве петербургской метрополии // Реальность этноса. Образование и проблемы межэтнической коммуникации. СПб., 2002.

48. *Гозман Л.*, *Эткинд А.* Идентичность, культурное самосознание // Опыт словаря нового мышления. М., 1989.

49. *Радина Н.К.* Гендерная идентичность // Словарь гендерных терминов. М., 2002.

50. *Коноплева Н.А.* Гендерная идентичность творческой личности // Словарь гендерных терминов. М., 2002.

51. *Иванова Н.Л.* Проблема формирования социальной идентичности у студентов педагогических вузов (сравнительный анализ ЯГПУ и Калифорнийского университета в Беркли) // Americana. Волгоград, 2002. Вып. 5.

52. *Зеленцова А.В.* Образование в условиях общественных трансформаций (глобализационный контекст) // Americana. Волгоград, 2002. Вып. 5.

53. *Лапина И.А.* Этнонационализм и космополитизм как концепции социальной идентичности // Реальность этноса. Образование и проблемы межэтнической коммуникации.

54. *Пьецух В.* Интеллигент // Московские новости. 2003. 11 – 17 марта.

55. *Кессиди Ф.Х.* Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. 2003. №1

56. Ankersmit F.R. Historiography and Postmodernism // History and Theory. Vol. XXVIII. №2 (1989).

А.М. Сергеев

ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ: СИТУАЦИЯ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА

В данной статье исследуются некоторые теоретические аспекты процесса идентификации и самоидентификации. Логика данных рассуждений применима к поведению и индивида, и этноса (нации). Особое внимание уделяется изучению феномена нехватки времени и пространства. Особенность методологической позиции автора состоит в обособлении «хронологического» (от греческого слова χρονος) времени от «кайрологического» (от греческого слова καιρος) времени и в разделении понятий места и пространства. Показывается, что спонтанность и рефлексия являются двумя измерениями функционирования сознания. В обосно-

вании своих рассуждений автор опирается на идеи античных, средневековых и новоевропейских философов.

Идентичность достигается путем совершения актов уподобления чему-либо или кому-либо, когда мы в состоянии удерживать сущностные характеристики объекта и соотносить их с собою. В слове «идентичность» (от английского *identity*, т.е. тождество, своеобразие, неповторимость) закрепляется как оттенок *сходства*; нахождения *чего-то общего*; приведения к *одному основанию*, так и смысл *уникальности* и *несводимости* (непереводимости) того, что всегда есть – в себе и для себя – нечто единое, *к другому*. Того, что между ними всегда есть и будет некая дистанция. Тождественность по отношению к себе – всегда исключительность в сравнении со всем чем бы то ни было. Рассмотрим данную проблему через призму *феномена нехватки времени* и *пространства*, сегодня все настойчивее о себе заявляющего.

Нам часто не хватает времени, и именно *нашего* времени. Однако при внимательном рассмотрении понятно, что наше время потому и наше, что оно – больше *ничье*. И *за* меня, как и *вместо* меня, его не проживет никто. Но в чем в таком случае ощущается нехватка? Да как раз в *чужом* времени, т.е. в том времени внутри нас, которое мы в себя вносим, тесня собственное (сугубо наше), индивидуальное, время. Налицо – нехватка времени, проистекающего из коммуникаций Я с миром. Интересно, что ранее, в частности, у Августина проблема решалась по-другому. Время воспринималось либо как существующее, либо как отсутствующее: или как то, что (еще) есть, или как то, чего (уже) нет [1, с.292 – 294]. Не замечалось именно время *другого*. Теперь, когда встает вопрос о недостатке времени, речь идет именно о *своем* и *только своем* времени. О нашей выявившейся к сегодняшнему дню проблематичности попадания в индивидуальное время. Как раз другого времени в нас, как правило, хоть отбавляй.

Привлечение внимания к проблеме *своего* времени – хороший трамплин для осознания *темы индивидуального*, которая все громче и отчетливее заявляет о себе. С распадом кон-

тинуума непрерывности, позволявшего свести нечто к принципиально более значимым горизонтам, воспринимаемым в качестве «прародины» и «прародительнице» этого «нечто», оформилась онтологическая позиция, согласно которой индивидуальное понимается как нечто самодостаточное. И фактор времени в таких, *индивидуальных*, онтологиях становится ключевым. Важно понять, в каких именно феноменах выявляет себя мое собственное время?

Вместе с тем данная логика вполне применима и к индивидуальностям этносов и наций. У каждого этноса, как и у каждой нации, свое время. И важно понять, замечается оно ими или нет. Показателен опыт Чаадаева, изначально не прочитываемый в призме дилеммы «западники/славянофилы». Фиксация исторического запаздывания развития России поддерживает иллюзию, что *можно* (и даже *нужно*!) догонять и перегонять Запад, но не жить *своим,* сугубо *российским,* временем. И отстаивая свой традиционный путь развития, как он сложился сам по себе вне нашего к нему осознания и без определенной мыслительной работы, мы рискуем опять же не попасть в свое собственное время. Чаадаев принуждает нас понять, что *за* нас (в данном случае – за российский народ и Россию) прожить не сможет никто, есть ли она, спешащая вдогонку за другими народами или равнодушно плюющая на все, что происходит вокруг [8]. Наш путь – это только наш путь. И его никто ни при каких обстоятельствах занять не сможет, ибо способны его *иметь* или *терять* только мы как россияне.

Заметим, что, наряду с *хронологическим* временем (от греческого χρονος), развертывающимся в различных направлениях: либо от *прошлого* – через *настоящее* – к *будущему*, либо, напротив, от *настоящего* – к *прошлому*, реализацией чего и подразумевается *будущее*, но которое всегда есть именно перебор и связь различных интервалов («кусков») событийности, христианами выделялся и другой тип времени. Это *кайрологическое* время есть время настоящее (от греческого καιρος, т.е. «вечно»). Альтернативность двух подходов внутри хронологического времени, связанная с идеей *прогресса* и идеей *тра-*

диции, по сути дела, определяет одну парадигму восприятия времени, которое в обоих случаях не наше собственное. Еще до христиан о специфическом времени, в отличие от времени хронологического, говорил Аристотель. Он подчеркивал, что «во времени имеется нечто неделимое, что мы называем ″теперь″» и, уточняя свою мысль, добавлял, что «одно и то же ″теперь″ существует в обоих временах, которые оно разделяет», а потому оно как граница обоих времен «одновременно покоится и движется» [2, с.185 – 186]. И, выделяя кайрологическое время, христиане акцентировали внимание на том времени, которое, возникая (именно «возникая», но не «возникнув»), не заканчивается, а *длится*. Значим сам смысл длящегося и выполняющегося на всем протяжении существования меня как живого существа, *события моего Я*.

Сегодня мы живем в ситуации господства хронологического времени. Доказательством нашего пребывания в «хронологической ловушке» и, следовательно, определенной неразумности служит распространенность наших экивоков на *хронологические параллели в истории* и на *возрастные сопоставления в повседневности*. Платой за наше пребывание в хронологическом времени являются современные конфликты: *прогресс* борется с *традицией*. Одновременно быть и тому и другому трудно. Тотальность хронологии задает безрадостную перспективу: в ситуации современного роста коммуникаций и синхронизации основных процессов жизнедеятельности *земное* существование может развиваться преимущественно в одном направлении. И когда оно определяется сторонниками прогресса, традиционалисты оставляют за собой никем не занятые *Небеса*, стремясь любой ценой «исправить» положение дел на *Земле*. Обратим внимание, что сегодня Небо «остается» за проигравшими, тогда как до новоевропейского мировоззренческого переворота оно являлось уделом выигравших.

Несмотря на кажущуюся альтернативность подходов ко времени, исходящих из сопряжения *настоящего* с *прошлым* и *будущим*, они уравнены в отношении к настоящему. Уравнены – самим *невосприятием настоящего*: экран прошлого, как и буду-

щего, мешает осмыслить настоящее, которое всегда с нами и единственно наше. Вот это-то «наше» остается изначально непонятым. И говорящая за нас, русских, связанность с прошлым, проявляющая себя сегодня в знании, когда ушел предыдущий (последний) поезд метро, равно как и незнание того, когда придет следующий, по сути своей, вытекает из той же непродуманности настоящего и нежелания связывать с ним себя, что и европейская обеспеченность своего будущего, выражающаяся в том числе и в строгом знании того, когда придет следующий поезд.

Выделяя кайрологическое время, христиане акцентировали внимание на том времени, которое, возникая (именно «возникая», а не «возникнув»!), не заканчивается и *длится*. Таким образом, значим сам смысл длящегося и выполняющегося на всем протяжении существования меня как живого существа, *события моего Я*.

В связи с рассуждением о времени обратим внимание и на мысль Л. Витгенштейна. Прежде чем «мир распадется на факты», говорит нам Витгенштейн, он должен быть, ведь если мира нет, то нечему и распадаться. Итак, сначала «мир есть все, что выпало», «случилось», «произошло». Уже потом, исходя из этого, мы оперируем фактами и фактическим измерением мира [3, с.159 – 171; 4, с.5; 5, с.103 – 106]. Понятно, что измерять можно только то, что уже «выпало» и «случилось». Применительно ко времени это осмысливается уже следующим образом: хронология возможна только по отношению к произошедшему времени, т.е. прошлому. Но когда мы это осуществляем, то исходим из того, что в хронологию еще не вошло, т.е. из настоящего. Это-то «настоящее», или кайрологическое, время в рамках разбора хронологического времени остается принципиально *непродуманным*. На наш взгляд, именно такой «непродуманностью» настоящего времени «питается» иллюзия, согласно которой человек или определенная нация стремятся стать хозяином, собственником и даже властелином времени. Ввиду непродуманности настоящего в таком случае реализуется, как правило, интенция пожить *чужим* временем, удержав его во что бы то ни стало.

Значит, место и время моего Я – только *мое* место и *мое* время, и, как мы поняли, его *за* меня и *вместо* меня не займет никто. Именно они-то и формируют *предметность моего Я*, т.е. реальность моего собственного присутствия, которая всегда *со мною* и *при мне* независимо от того, знаю я об этом или нет. Видимо, эту мысль в том числе и стремился высказать Зенон Элейский в апории о том, что Ахилл никогда не догонит черепаху [9, с.309]: «перегнать» он ее, может быть, и сможет, но «догнать» никогда, ибо место черепахи – всегда только ее место, которое олимпийскому чемпиону, как не исхитряйся, не занять никак.

На феноменологическом уровне мы сталкиваемся либо с *непознаваемостью* Я, но за счет этого имеем понятие *субъекта*, посредством которого познаем мир, переводя его *вещность* в классифицируемые – субъектом – *объекты*, либо познаем Я, но не имеем в этом случае основания (subject) для познания мира и воспринимаем его как хаос ежемгновенных нагромождений.

Показательно, что уже античная философия стремилась отгородиться от субстанциального и натуралистического представления образа Я уже самим невосприятием *проблемы пространства*. Так, выделяя семантические классы предикатов, Аристотель ни словом не обмолвился о пространстве, хотя особо «заметил» место и время. Более того, при внимательном отношении к аристотелевским текстам становится понятно, что пространство понимается им как особого рода умопостигаемая среда, через которую перемещаются тела, меняя свои места. Пространство оказывается в каком-то смысле «вторичным» образованием по сравнению с «местом», само существование которого в отличие от «места» у Аристотеля не проясняется. Не проясняется именно ввиду теоретической его несостоятельности.

Подобная невосприимчивость древних греков к пространству показательна в сравнении с сознанием современного человека: сегодня *образ пространства* распространен настолько, что трудно представить, как сознание могло бы без

него обходиться. Завороженный образом пространства, наш современник склонен расценивать свою жизнь в образах его (пространства) поглощения. Видимо, напрямую связано с данным обстоятельством и распространение представлений о всё возрастающих *скоростях перемещения* по пространству. Представляется, что именно утрата своего места заставляет нас столь целенаправленно обращаться к пространству, которое в отличие от места изначально не способно стать *моим*, ибо оно – всегда *чужое*.

Заметим еще и то, что «попадание» жизни в проем хронологического перебора времени и пространственного поглощения чревато утратой *глубины*, т.е. *внутреннего* ее измерения. Нации, стремящиеся состояться в параметрах пространства и пространствопонимания, т.е. так или иначе реализующие себя преимущественно в деле территориальных притязаний или геополитических стратегий, оказываются заложниками принципиального невосприятия связанности жизни каждого народа со своим местом и своим временем. Наряду с этим неукорененность такого поведения, связанная с непониманием помимо прочего и своего места, как и своего времени, толкает такие нации к бесконечному перемещению по поверхности мира: бесконечному потому, что поверхность мира *потенциально бесконечна*. Здесь все решают скорости перемещения. Остановки в таком скоростном смещении – это только «недоразумения» или вызывающие досаду и раздражение «остановки», связанные с поломкой мотора; с его неэффективностью, но которые мыслятся принципиально преодолимыми.

Интересно особо отметить то, что внутреннее (свое) место и время альтернативно *категориальному* понимания пространства и времени. Начиная с Канта, внимание акцентируется на том, что в отличие от места и кайрологического времени *пространство* и *хронологическое время* – это единицы не субстанциального или натурального описания мира, а категориального его понимания. Но тогда можно рассуждать об их «пустоте» и «формальности»: мы всегда сталкиваемся с их собственным «содержательным» наполнением, т.е. с явлениями пространства

и времени, но не с ними самими. Другими словами, пространство и хронологическое время выступают в качестве своеобразных рефлексивных средств, благодаря которым человеку удается упорядочить и структурировать то, что по природе своего возникновения хаотично и бесструктурно. Таким образом, пространство и время оказываются формами сознания, благодаря которым мы переводим в сознание содержания нашей жизни, совмещая их с разумом, т.е. осознавая их.

Однако в этом случае встает чрезвычайно острая проблема, которую можно сформулировать в качестве парадокса: либо мы живем своим внутренним местом и внутренним (кайрологическим) временем, а значит, живем своим Я, а на уровне национально-этническом описываем жизнь с позиций таких, например, феноменов, как русская душа, либо осмысливаем свое существование в категориях пространства и времени, но тогда не имеем своего Я и феноменов типа «русской души», так как для существования таких феноменов – при категориальном анализе – нет никаких условий.

Стремясь расчистить дорогу процессу объективного познания, классическая философия оставалась верна онтологическому определению Я, связанному с понятием *субъекта*. Своеобразная *«непознаваемость» Я* являлась залогом познаваемости всего и вся, к чему субъект прикасался. Психология же пошла по пути принципиальной возможности собирания и конструирования Я, наработав к нашему времени такое множество образов тождественности, что человек, связавшись с ними, рискует утратить свою индивидуальность совсем или вообще к ней не прикоснуться. Психологическая «познаваемость» Я оборачивалась «непознаваемостью» всего, чем это Я не является, т.е. непознаваемостью мира.

Учитывая сказанное, сформулируем проблему следующим образом. Человек, как и нация, не может не иметь образ себя, но также и не может им удовлетвориться. Возможно, что в *логическом* отношении такими образами и можно пожертвовать. Однако трудность *практического* осуществления этого состоит в утрате связи индивидуальности с *внутренним* миром,

на что, разумеется, пойти очень трудно, ибо это чревато угрозой отказа от себя или, что одно и то же, замыкания в себе, а также нарастанием болезненной симптоматики.

Смысл тезиса Декарта «Сомневаюсь, следовательно, существую» связан с фиксацией несомненности *самой сомневающейся инстанции*, осуществляющей акт мышления и совершающей познание всего, в чем как раз принципиально можно усомниться. Декартовское Я именно *онтологично*, но не психологично. Философия Декарта, как, впрочем, и исходящая из нее онтологическая и феноменологическая традиция, в том числе философия Канта и Гуссерля, принципиально не связывали Я с какой-либо *субстанцией, тождественной себе во времени*. В альтернативу этому психологическая установка, как бы не различались между собой различные варианты психологической теории и практики, непременно связывалась с *допущением точки (*т.е. *места и времени) тождественности Я* и сводилась к изучению способов, ее сохраняющих и поддерживающих [6, с.105 – 106, 110 – 111, 159 – 161].

Представляется, что Декарт, Кант и Гуссерль, каждый посвоему, но пытались заострить внимание на несовпадении *Я-познающего* (субъекта познания) и *образа Я*, реконструируемого этим субъектом в процессе познания. Говоря о *мнимости* объективно существующего Я, они стремились подчеркнуть, что Я человека не может стать объектом, а потому в отношении его невозможны *объективные* знания. В результате они пытались противостоять самому намерению, связывать операции самоидентификации человека с какими-либо *инстанциями* или *субстанциями Я*, якобы действительно существующими помимо сознания.

В конце концов, проблема существования Я оказывается уже проблемой *мыслительной реконструкции рефлексивных актов*, благодаря которым образ Я выстраивается и поддерживается.

Понятно, что на уровне рефлексии *спонтанность сознания* как таковая не воспринимается как нечто самодостаточное: акцент ставится не на непосредственном функционировании отдельных *«сознательных» содержаний* [6, с.153], а на уровне

формы, посредством которой они (эти «содержания») способны быть воспроизведены. В рефлексии отдельное и всегда случайное содержание сознания (по крайней мере, в буквальном смысле оно есть то, что случается) приобретает *форму*. Как раз потому, что это «содержание» лишается спонтанности, оно способно быть *объяснено* и *описано*, например, причинно-следственным образом.

Разумеется, «избавляться» от спонтанности нам, если мы захотим понять себя, а значит, будем стремиться проникнуть в принципы и законы появления на свет *отдельных содержаний* нашей «сознательной жизни», все равно придется. Довольно развито мнение о том, что человек может выстраивать свою жизнедеятельность исключительно на уровне спонтанности. Это, вероятно, надлежит расценивать как заблуждение, хотя в каком-то смысле и плодотворное заблуждение, если, конечно, считать акты спонтанирования пробитием брешей в цитадели «стопроцентного» рефлексивного поведения.

Стоит признать, что *Я* является одной из наиболее устойчивых форм, способных «соотнести» *различные* по месту и времени *содержания* нашего сознания, а также условием их воспроизводства. Образ Я – особая условная конструкция, благодаря которой мы имеем *возможность структурирования* того, что по природе возникает с нами и в нас как нечто *бесструктурное*. Благодаря этому, мы приобретаем способность *контроля*, *анализа* и *прогноза* того, что возникает в действительности как принципиально спонтанное явление, но теперь – в ходе рефлексии – получает *событийное измерение*. На уровне рефлексии осуществляется связь различных «мест» как именно *моих мест*, и соотношение «фрагментов» хаотического содержания как интервалов именно *моего времени*.

Появление формы, *со-относящей* различные содержания нашей сознательной жизни, позволяет нам как-то *отнестись к себе* и иметь опыт восприятия самих себя. Форма дает нам возможность быть отнесенными к себе. *Я* и есть такой феномен сознания, появление которого становится для нас знаком *«жизни» сознания* на уровне его *рефлексии* [7]. И если сами содержания –

через повышение ранга сознательной жизни путем достижения уровня совершения рефлексивных процедур – познаваемы, то сама *форма Я* не такова: при познании этой формы мы сталкиваемся опять же с совокупностью отдельных содержаний.

Таким образом, совершение человеком рефлексивных процедур не менее значимо, чем спонтанная «жизнь» сознания. Именно этот уровень, собственно, и делает человека человеком. Первичность появления, т.е. *первичность генезиса*, не совпадает с первичностью по существу, т.е. *первичностью онтологии*. Видимо, именно для закрепления «онтологического равенства» двух уровней сознания и фиксации их «бытийной эквивалентности» Декарт вынужден был пойти на дуализм res extensa и res cogitans и ввести понятие «врожденной идеи» в отличие от «приобретаемой идеи» и идеи, «образуемой самим интеллектом». Это позволило ему освободиться от проблемы того, что – первично, а что – вторично: содержание (спонтанность) или форма (рефлексия).

В заключение заметим следующее. Жить исключительно спонтанностью (в терминологии Канта – чувственностью) могут позволить себе, конечно, очень немногие люди, а тем более редкие народы. Представляется, что тип «русской» жизни и «русского» поведения связывается именно с таким восприятием жизни, когда содержание более значимо, чем форма. Напротив, достижения цивилизации связаны с умением «держать» форму и не позволять спонтанности брать вверх. Такое поведение (согласно Канту, поведение в соответствии с рассудком), разумеется, имеет свои ограничения: оно не так «интересно» и не столь «ярко». Кстати, заметим, что возникновение такой формы, как *повседневность,* является свидетельством жизни в параметрах цивилизации, и в ней с трудом находится место для чувственности. В ситуации *смерти чувств* в них теперь уже нужно «впадать»: либо внедряясь и интегрируясь в жизнь народов, в которых температура чувства еще не остыла хотя бы на какое-то время, либо создавая маргинальные измерения (а другими они быть не могут), ибо являются «брешами» в цивилизованной, общественной, структуре жиз-

ни народа, где человек время от времени мог бы пережить состояние повышенной чувствительности.

Приходится выбирать: остаться с внутренним миром и жить преимущественно спонтанностью или, отказавшись от своего места и своего времени, научиться жить в формализованном и ничьем мире, освоение которого ввиду этого возможно посредством категорий пространства и времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Августин А.* Исповедь. М., 1991.

2. *Аристотель.* Физика // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1981.

3. *Бибихин В.В.* «Логико-философский трактат» Витгенштейна // Философия на троих. Рига, 2000.

4. *Витгенштейн Л.* Философские работы. М., 1994. Ч. 1.

5. *«Логико*-философский трактат» с параллельным философско-семиотическим комментарием // Логос. 1999. №11. С. 99 – 130.

6. *Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М.* Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997.

7. *Сергеев А.М.* «Жизнь» сознания и существование метафизических текстов культуры (12 тезисов с введением) // Мысль: Философия в преддверии XXI столетия: Сб. ст. СПб., 1997. С. 105 – 114.

8. *Сергеев А.М.* Философия Чаадаева: (Излом очевидного). Петрозаводск, 2000.

9. *Фрагменты* ранних греческих философов. Ч. 1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989.

Л.И. Гришаева

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ «СВОЙ», «ЧУЖОЙ», «ДРУГОЙ» ПРИ АККУЛЬТУРАЦИИ И ИНКУЛЬТУРАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Современное состояние гуманитарного знания достигло такого уровня, которое настоятельно потребовало от лингвистики, философии, социологии и других гуманитарных наук междисциплинарности не только как способа дополнительной

верификации того или иного полученного результата, но и как основополагающего свойства исследования любого из рассматриваемых аспектов и/или объектов приложения научного интереса.

Поэтому не удивительно, что при подготовке специалистов по направлению «Лингвистика и межкультурная коммуникация» важное место отводится курсам, в которых изучается проблематика, на первый взгляд имеющая опосредованное отношение к теории и практике обучения иностранным языкам или лингвистике. Между тем, как свидетельствуют социопрагмалингвистические и когнитивно ориентированные исследования языковых средств, знания о культуре, о психофизиологических, социокультурных особенностях коммуникантов могут стать весьма надежным фундаментом для осмысления закономерностей функционирования языка как средства коммуникации и одного из способов кодирования сведений о внеязыковой реальности.

Исследование идентичности, оппозиций «свой ⇔ чужой», «свой ⇔ другой», «чужой ⇔ другой», очевидно, относится к наиболее актуальным задачам современной теории межкультурной коммуникации и новейших лингвистических исследований. Это связано с тем, что при использовании языка как средства общения между представителями различных культур так называемые «наивные пользователи», как правило, не принимают во внимание тот принципиальный факт, что они, обращаясь к какому-либо языку как к средству общения, имеют дело в том числе и с передачей социокультурно обусловленных ценностей, что моральные и этические культурные ориентиры, активируемые у взаимодействующих субъектов соответствующими языковыми средствами, не тождественны – и могут быть даже диаметрально противоположными – уже только в силу их принадлежности к разным культурам (см. об этом подробнее [4; 8; 14].

Оппозиция «свой ⇔ чужой» как основа идентичности.

При осмыслении влияния факторов «свой», «чужой», «другой» на результат коммуникации в тех или иных условиях

следует принимать во внимание ряд вводных, которые сформулируем в виде нескольких тезисов. Поскольку обсуждаемая проблематика в последние годы является предметом оживленных научных дискуссий, представляется излишним останавливаться подробно на аргументации приводимых положений.

1. Идентичность – это результат некоторого процесса – идентификации, – обладающего в силу своих феноменологических особенностей некоторой протяженностью во времени. Поэтому идентичности свойственны как дискретность, так и континуальность.

2. Идентичность субъекта с учетом временной составляющей может быть осмыслена как некоторое множество «частных» идентичностей, актуальных для определенного периода жизнедеятельности субъекта и этапа его становления. Границы между этими фазами текучи, подвижны, однако ядерная часть мало подвержена разного рода влияниям, что обеспечивает, с одной стороны, возможность известного изменения личности, а с другой – тождественность личности самой себе на протяжении всей жизни субъекта.

3. Идентичность – это некий инвариант, реализуемый через множество вариантов, существование которых детерминировано как постоянно и длительное время действующими, так и некоторыми одномоментными и/или разовыми факторами.

4. Идентичность – результат социализации личности, причем целесообразно различать первичную социализацию в родную, «свою», культуру и вторичную социализацию в «чужую» культуру, а также социализацию в иные субкультуры, прежде всего в пределах «своей» культуры. Для названных процессов свойственны общие черты и различия, иногда весьма существенные для идентичности феноменологически и для идентичности конкретной личности как культурно детерминированного субъекта. Разнородные элементы (составляющие соответствующих процессов) складываются в некоторое единство из нескольких субсистем, образующих некоторые социальные системы. Как таковые эти элементы наличествуют при первичной и вторичной социализации, однако характер организа-

ции их в определенной субсистеме и в системе в целом не может не быть иным.

5. Идентичность – результат осмысления человека себя самого, этот результат однако в значительной мере подвержен влиянию объективных по отношению к субъекту факторов и культурно детерминирован.

6. Идентичность – явление многоаспектное, однако комплексное, организованное иерархично. Функциональная нагруженность и «удельный вес» отдельного аспекта, по всей видимости, не могут быть тождественными у различных субъектов, что и обусловливает сложность теоретического описания идентичности как феномена, а также, с одной стороны, личностное разнообразие в одном и том же социуме и, с другой стороны, наличие одних и тех же социотипов в различных социумах.

7. Феномен «идентичность» обнаруживает в силу своей комплексности и многоаспектности некоторую структуру, выявляемую при специальном изучении. В структуре идентичности различаются элементы ядерные и периферийные. Количество этих элементов, очевидно, должно (может?) быть конечным. Изучение структуры анализируемого явления позволяет, с одной стороны, описывать культуру в целом, процессы аккультурации и инкультурации, а с другой – разрабатывать стратегии и методики конструктивного преодоления этноцентризма и ксенофобии.

8. Идентичность – результат (целенаправленной) рефлексии субъекта, однако при инкультурации и аккультурации степень осознанности соответствующих процессов существенно различается. Следствием этого является разница в отношении субъекта к процессу идентификации и к идентичности.

9. Ментально идентичность репрезентирована культурно детерминированной картиной мира со свойственной последней концептуальными системами, особенностями категоризации и концептуализации мира.

10. Вербализуются соответствующие сведения некоторым набором механизмов вербализации картины мира, которые

субъект использует большей частью неосознанно, однако в ряде случаев в том числе и сознательно. В языковой картине мира обнаруживаются некоторые средства, первичной функцией которой является экспликация операции «идентифицирование», что сказывается, прежде всего, на синтаксической семантике коммуникативных единиц различной структуры.

11. Идентичность и идентификация проявляются в дискурсивной деятельности субъекта и сопутствуют многим видам деятельности человека как основа соответствующего вида / аспекта деятельности.

12. Характер идентичности опознается по использованию субъектом номинативных и дискурсивных стратегий в тех или иных дискурсивных условиях.

13. Идентичность можно трактовать как некоторую социальную равнодействующую, в которой сходятся как индивидуальные черты субъекта, так и общезначимые для данной культуры свойства.

14. В основе процесса идентификации и идентичности лежит оппозиция «свой ⇔ чужой», которой свойственны скалярность, градуальность. Эти факторы проявляются на границе «своего» и «чужого». Оппозиция «свой ⇔ чужой», будучи антропологической константой, является фундаментом для формирующейся в процессе социализации оппозиции «свой ⇔ другой».

Сфера функционирования оппозиций «свой ⇔ чужой», «свой ⇔ другой».

Таким образом, при изучении процессов идентификации и/или социализации целесообразно уделять основное внимание локальным и модальным параметрам изучаемых феноменов, то есть исследовать где и как функционируют они. Поэтому максимального интереса заслуживают 1) пограничные зоны между «своим» и «не-своим», «другим», «чужим», в которых проявляются как универсальные, так и идиокультурные особенности социализации, 2) скалярность оппозиции «свой ⇔ чужой» (то есть явные и менее явные различия, обнаруживаемые субъектом при встрече с «чужим»), 3) градуальность в

проявлении соответствующего феномена (разная степень интенсивности), что 4) обусловливает необходимость исчислить разные типы ситуаций, в которых обнаруживаются явные / неявные различия между своим и чужим, чтобы затем изучить их специально.

Влияние отмеченных параметров на идентификацию и идентичность личности как социотипа и как культурного типа можно выявить как в пределах «своей культуры», так и при коммуникации с представителями других культур.

Очевидно, что в общение вступают люди, имеющие разного рода знания о других культурах; причем о некоторых культурах они могут судить, основываясь на собственном опыте и имея либо не имея личных неформальных и / или официальных контактов с представителями этой другой культуры. Есть культуры, знаниями о которых индивид располагает со слов представителей «своей» культуры, обладающих личным опытом контактов с «чужой» культурой. Существуют к тому же культуры, сведения о которых индивид черпает исключительно из авто- и гетеростереотипов и / или предрассудков, имеющих хождение в «своей культуре», устоявшихся за многие века и задающих представителям этой культуры в силу сложившейся традиции довольно жесткие рамки восприятия, которые весьма и весьма трудно преодолевать (см., к примеру исследование стереотипов, существующих вот уже более двух-трех столетий и мало изменившихся за столь длительное время, несмотря на чрезвычайно богатую событиями историю взаимоотношений между названными народами-соседями [11]).

Поэтому представляется целесообразным при исследовании закономерностей аккультурации и инкультурации теоретически учитывать культурный фон, на котором развертываются соответствующие процессы. Наглядно это представлено на рисунке 1, в центр которого помещена личность, входящая в «свою» культуру, контактирующая с другими индивидами в пределах «своей» культуры и имеющая более или менее четкие и полные представления / знания о нескольких «чужих» культурах.

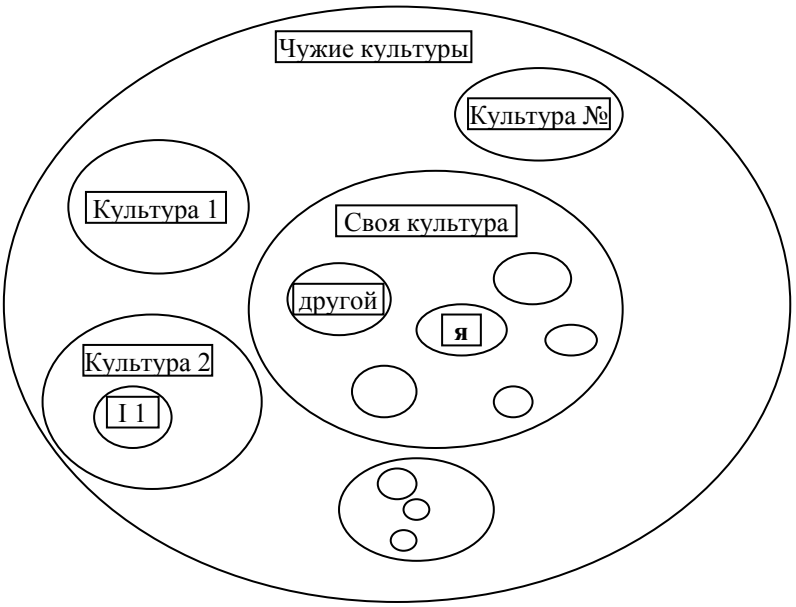


Рис. 1

При формировании вторичной языковой личности приведенные рассуждения могут послужить ориентиром для выбора учебного материала. Поэтому основным критерием становится не столько аутентичность учебного материала, сколько его культурогенность, то есть его способность стать средством аккультурации [3].

Принимая во внимание то, что соотношение универсального и идиокультурного, общечеловеческого и индивидуального, субъективного и объективного, эксплицитного и имплицируемого чрезвычайно противоречиво, представляется продуктивным предложить матрицу для анализа исследуемого феномена (табл. 1). Обратим внимание на то, что в матрице отсутствует деление на «свою» и «чужую» культуры, поскольку влияние фактора «свое / чужое» прослеживается и внутри одной культуры, например, при контакте представителей различных субкультур (см. рассуждения выше).

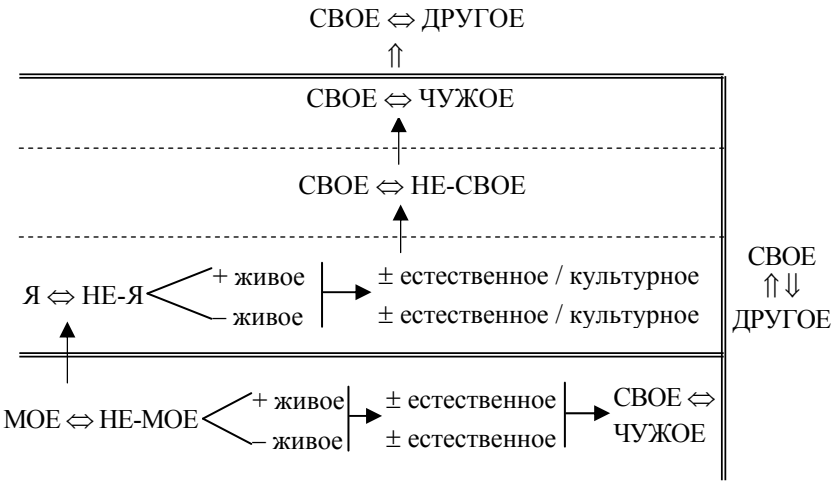
Часть культуры	Типы ситуаций											
	Очевидные различия				Неявные различия				Различия, обнаруживаемые только при рефлексии			
	Индивидуальные признаки		Социокультурные признаки		Индивидуальные признаки		Социокультурные признаки		Индивидуальные признаки		Социокультурные признаки	
	В-код	НВ-коды	В-код	НВ-коды	В-код	НВ-коды	В-код	НВ-коды	В-код	НВ-коды	В-код	НВ-коды
Материальная												
Духовная												
Интеракциональная												

Примечание: В-код – вербальный код, НВ-коды – невербальные коды (мимика, жестика, проксемика, габитус, одорика, цветовая символика и пр. культурно релевантные способы кодирования культурно значимой информации).

Не отражены в таблице различия и между процессами аккультурации и инкультурации, хотя очевидно, что при аккультурации человек находится в довольно сложном положении: находясь физически в «чужой» культуре, он психически пребывает в «своей», в той системе культурных координат, которую он «присвоил» себе при социализации в «свою» культуру; на это противоречие обратил внимание еще в начале XX века социолог Г. Зиммель [12, S. 31].

Наибольший исследовательский интерес представляют неявно выраженные социокультурные различия при близкой культурной дистанции, поскольку именно в подобных случаях коммуниканты склонны руководствоваться представлениями, укорененными в «своей» культуре/субкультуре, что потенциально чревато серьезными, порою фатальными для результата взаимодействия, коммуникативными сбоями. В последние годы появились исследования, которые весьма убедительно демонстрируют необходимость учитывать соответствующие закономерности при преподавании иностранного языка [9], способствуя тем самым формированию вторичной языковой личности, действующей адекватно в «чужой» для нее культуре.

Изложенные представления можно дать схематично в виде некоторой системы иерархий между оппозициями «мое ⇔ не мое», «я ⇔ не я», «свое ⇔ не свое», «свое ⇔ чужое», «свое ⇔ другое» (рис. 2) (см. обоснование трактовки в [3, с. 48]). Думается, что сопоставимые процессы имеют место как при восприятии материальных, так и нематериальных объектов, социальных в том числе. В рисунке 2 показано, что оппозиция «свое ⇔ чужое» является основой, на которой может сформироваться восприятие «другого» не как чего-то враждебного и потенциально опасного, а как «иного» со своими специфическими законами функционирования и своими специфическими свойствами. Подведение объектов и субъектов под категорию «другой» еще не означает отрицание того, что категория «чужой» становится когнитивно избыточной.



Функции оппозиции «свой ⇔ чужой»

Рис. 2

Следовательно, оппозиция «свой ⇔ другой» может сложиться только как результат целенаправленной интеллектуальной работы субъекта познания и коммуникации, что не может не требовать от этого субъекта серьезных когнитивных усилий. В отличие от описанного процесса оппозиция «свой ⇔ чужой» складывается, очевидно, по большей части спонтанно, неосознанно, так как данная оппозиция является антропологической константой (см. в этой связи любопытные наблюдений над поведением, к примеру, младенцев [13]).

Следовательно, восприятие инокультурных фактов в парадигме «восхищение ⇔ ксенофобия», или этноцентрически, детерминированно свидетельствует о несформированности идентичности. Восприятие иного с позиции «свой ⇔ другой» демонстрирует социальную зрелость личности, а также не в последнюю очередь высокий ценностный статус «своего» в ее картине мира такой личности.

Таким образом, различие между понятиями «чужой» и «другой», предельно упрощая, можно свести к степени проявления реакции и интенсивности переживания эмоций, вызываемых у субъекта восприятия тем или иным объектом, не входящим в зону «своего». В случае с «другим» сигналы инаковости могут интерпретироваться как привлекательные, вызывающие интерес, при «чужом» – реакция варьируется в пределах а) «угроза ⇔ опасность ⇔ осторожность ⇔ настороженность ⇒ (любопытство) ⇒ интерес ⇒ симпатия ⇒ восхищение» либо б) «угроза ⇔ опасность ⇔ осторожность ⇔ настороженность ⇒ (любопытство) ⇒ антипатия ⇒ ксенофобия».

Осознание места и роли оппозиции «свой ⇔ чужой» при инкультурации и аккультурации личности и при формировании его идентичности позволяет уяснить ее функции в названных процессах; упомянем только наиболее значимые в обсуждаемом контексте:

– *эпистемическая*, то есть
  – познание личности себя самой (картина мира и т.д.),
  – познание собственной культуры,⇓
  – обогащение эмоционального опыта,⇓
  – увеличение объема знаний,⇓
  – расширение кругозора личности,⇓
  – расширение картины мира,⇓
  – ….
  – ⇓ переструктурирование элементов в картине мира ⇒ изменение в целом картины мира в данной культуре;
– *просветительская*, то есть
  – знакомство с новыми картинами мира,
  – знакомство / «присвоение» новых способов взаимодействия с миром вещей и с миром людей,
  – ознакомление с наилучшими инокультурными образцами духовной и материальной культуры,
  – ⇓ распространение общечеловеческих ценностей,
  – ⇓ демонстрация вариативности миропонимания,

  - ⇓ формирование в конечном счете толерантного отношения к ДРУГОМУ: взглядам, действиям, мироощущениям и т.п.,
  - ⇓ формирование уважительного отношения к ДРУГОМУ в пределах «своей» и «чужой» культуры,
  - ⇓ облагораживание, «очеловечивание» межличностных отношений, смягчение нравов и др.;
- *цивилизационная*, то есть
  - распространение инновативных технологий на иные культуры,
  - ⇓ совершенствование способов производства,
  - выравнивание материальной стороны, несмотря на различные условия бытования той или иной культуры, тот или иной уровень развития материальной части культуры,
  - ⇓ содействие техническому прогрессу человечества и мн. др.

Следовательно, при формировании вторичной языковой личности представляется нерациональным пренебрегать методическим потенциалом обсуждаемых явлений. Поэтому при обучении иностранному языку целесообразно привлекать учебный материал, на примере которого «свое» и «чужое» проявляются с той или иной степени очевидности для субъекта коммуникации. Для разных групп такого материала (явные и неявные, слабые контрасты, малая или близкая культурная дистанция «своей» для обучающегося культуры и «чужой», то есть изучаемой, культуры) требуется разрабатывать свои особые приемы и методы его дидактической обработки.

Выводы

Одним из фундаментальных свойств любой личности является идентичность, формирование которой позволяет познающему и действующему субъекту сознательно или бессоз-

нательно владеть набором маркеров идентичности вербального и невербального характера и практически в любых условиях опознавать без труда «свое».

Первичная и вторичная социализации личности при инкультурации и аккультурации подпадают под универсальные и специфические закономерности.

Изучение закономерностей аккультурации и инкультурации позволяет особо отметить ряд положений: во-первых, оппозиция «свой ⇔ чужой» по свой природе является скалярной и градуальной, во-вторых, как таковая эта оппозиция проявляется только как пограничный феномен. В-третьих, оппозиция «свой ⇔ чужой» выполняет при инкультурации, социализации личности много функций, наиболее значимые из которых – эпистемическая, просветительская, цивилизационная.

С когнитивной точки зрения категория «чужое» по сравнению с категорией «другое» первично; «чужое» изначально – это нечто незнакомое, непривычное, «ненормальное», несвоевременное, загадочное, парадоксальное, вытесненное или вытесняемое. Однако именно в силу этого «чужое» становится одним из источников развития личности в целом.

Оппозиция же «свое ⇔ другое» является производной от оппозиции «свое ⇔ чужое». Познавая «свое» на фоне «чужого» и «чужое» на фоне «своего», личность переходит на когнитивно более высокий уровень и научается в процессе инкультурации и далее аккультурации воспринимать «чужое» как «другое». Тем самым личность становится социально более зрелой, когнитивно и коммуникативно более гибкой, а значит – более совершенной.

Следовательно, оппозиция «свой ⇔ чужой» может быть достаточно надежным научным инструментом для изучения процессов аккультурации и инкультурации. Поэтому мнение некоторых исследователей, предлагающих в последние годы отказаться от термина «чужой» и работать только с оппозицией «свой ⇔ другой» как средством научного познания и описания соответствующих процессов, представляется излишне категоричным.

Одним из средств формирования оппозиции «свой ⇔ другой» в условиях вторичной социализации можно считать курс «Теория межкультурной коммуникации» и группирующиеся вокруг этой проблематики курсы и спецсеминары. Благодаря получаемым в этих курсах сведениям становится возможным до некоторой степени предотвращать этноцентрический взгляд на другие культуры или минимизировать соответствующие последствия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Большой* толковый психологический словарь: В 2 т. М.: Вече-Аст, 2001.

2. *Гришаева Л.И.* Образование как условие, средство и способ инкультурации личности // Мир образования – образование в мире. 2003. №1. С. 41 – 51.

3. *Гришаева Л.И.* Культурогенность как критерий отбора учебного материала при межкультурно ориентированном преподавании иностранного языка // Формирование социокультурной компетенции при обучении иностранному языку / Ред. Л.В. Цурикова, Л.Г. Кузьмина, Н.А. Шарова. Воронеж: ВГУ, 2003.

4. *Красных В.В.* Этнопсихологи и лингвокультурология. М.: Гнозис, 2002.

5. *Культурология.* XX век: Словарь. / Гл. ред. С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1997.

6. *Межкультурная* коммуникация и проблемы национальной идентичности / Ред. Л.И. Гришаева, Т.Г. Струкова. Воронеж: ВГУ, 2003.

7. *Социальная* власть языка / Ред. Л.И. Гришаева. Воронеж: ВГУ, 2001.

8. *Телия В.Н.* Объект лингвокультурологии между Сциллой лингвокреативной техники языка и Харибдой культуры (к проблеме частной эпистемиологии лингвокультурологии) // С любовью к языку / Ред. В.А. Виноградов. М.; Воронеж: ИЯ РАН, ВГУ, 2002. С. 89 – 97.

9. *Цурикова Л.В.* Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации. Воронеж: ВГУ, 2002.

10. *Эссе* о социальной власти языка / Под общ. ред. Л.И. Гришаевой. Воронеж: ВГУ, 2001.

11. *Grucza Fr. (Hrsg.)* Vorurteile zwischen Deutschen und Polen. Verband polnischer Germanisten. Warschau, 1994.

12. *Maletzke, G.* Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Westdeutscher Verlag Opladen, 1996.

13. *Nitschke A.* Das Fremde und das Eigene // Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen (Hg.) Funkkolleg Geschichte. Studienbegleitbrief 4. Weinheim/ Basel, 1979. S. 45 – 76.

14. *Roggausch, W.* Einige Notizen zur Begriffsbildung in den Geisteswissensschaften // Info DaF 24, 6 (1997). S. 796 – 807.

15. *Schnell, Ralf (Hrsg.)* Kultur der Gegenwart. Themen und Theorien, Formen und Institutionen seit 1945. Verlag J.B. Metzler. Stuttgart-Weimar, 2000.

16. *The encyclopedia* dictionary of sociology. R. Lachman (ed.) – The Dushkin Publishing Group, Inc. Guilfort, Connecticut, 1991.

17. *Wierlacher A., Albrecht C.* Fremdgänge. Eine anthologische Fremdheitslehrefür den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Inter Nationes Bonn, 1998.

II

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И АНТИГЛОБАЛИЗМ КАК ВЫЗОВЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Р.Н. Абрамов

МАССОВИЗАЦИЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА: РОССИЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Сегодня говорить о кризисе культуры и глобализации, которая стала причиной этого кризиса, не более оригинально, чем утверждать, что дождь идет только тогда, когда на небе есть тучи. Впрочем, наличие туч не означает обязательности дождя и точно также глобализация не придает кризису культуры характер неотвратимости. Однако не случайно наблюдение за тучами наводит нас на мысль о потенциальной возможности дождя, также и изменения, происходящие в мире и получившие название глобализации, могут стать одной из причин трансформации символической сферы бытия. Данная работа посвящена решению вопроса о том, насколько тесной является причинно-следственная связь между глобализацией и особой формой культуры, которую обычно называют массовой. Массовая культура как доминирующий тип культуры современного общества возникает в результате процесса массовизации.

Сначала следует наметить некоторые подходы к определению того, что есть глобальное общество, глобализация, и как можно оценивать процессы массовизации культуры в качестве неотъемлемой части глобального общества. Пожалуй, следует начать с определения глобализации, хотя подобная задача в свете количества написанного материала по этой теме может казаться невыполнимой. Мы рассмотрим несколько взглядов на глобализацию.

Первый взгляд представляет американский социолог Джон Мейер, который считает, что глобализацию можно рассматривать как процесс, протекающий в нескольких измерениях [14].

Первое – политическое измерение означает возрастающую политическую и военную взаимозависимость существующих суверенных национальных государств за счет расширения числа взаимноинтегрированных организаций и учреждений: в данном измерении государства являются основными акторами глобализации. После неоднозначной роли ООН и НАТО в деле разрешения кризиса вокруг Ирака наиболее жизнеспособным межгосударственным образованием к началу 2003 года оставался Европейский союз.

Второе – экономическое измерение означает рост взаимозависимости национальных и региональных экономик и соответствующих многонациональных и международных общественных и частных организаций: здесь основными организующими акторами выступают фирмы и государства. До последнего времени данное измерение считалось главным, в соответствии с марксисткой традицией, рассматривать отношения в сфере экономики в качестве определяющих жизнь всего общества.

Третье – пространственное измерение глобализации связано с расширяющимся потоком движения индивидов в социальной среде посредством социально-экономической миграции, путешествий и политического изгнания: государство и индивид – вот главные акторы этого измерения. Позволив себе согласиться с растущим влиянием экономического и политического измерения глобализации, следует выразить нескорые сомнения относительно значения пространственного измерения глобализации: наличие глобальной экономики не делает безусловным факт наличия глобальной рабочей силы. Мануэль Кастельс замечает по этому поводу: «В то время как капитал свободно течет в электронных цепях финансовых сетей, труд остается и останется в обозримом будущем сильно ограниченным институтами, культурой, границами, полицией и ксенофобией. Только около 1,5% глобальной рабочей силы трудилось за пределами своих стран в 1993 году» [6, с. 225].

Вместо миграции индивидов и групп, обусловленной социально-экономическими причинами, скорее нужно говорить о миграции капитала и производственных мощностей в стабильные регионы, имеющие благоприятный налоговый климат и относительно дешевую рабочую силу. Путешествия и индустрия туризма многими авторами рассматривается в качестве примера эксплуатации региональных идентичностей в глобальном масштабе. Хотя путешествия как форма пространственной мобильности и перестали быть своего рода привилегией аристократии, однако этот вид времяпрепровождения ограничен средним классом: остальные 80 – 85 % мирового населения исключены из туризма [2,с.185]. Итак, можно констатировать, что пространственное измерение глобализации, как его понимает Мейер, остается таковым на сегодняшний день лишь в потенциале.

Четвертое измерение – культурный аспект глобализации означает расширение взаимозависимости культур через интенсификацию глобальной коммуникации и взаимное проникновение объектов локальных культур, превращенных в товары на глобальном рынке массовой культуры. Например, темы этнической музыки причудливым образом возрождаются, трансформируются, переплетаются и распространяются в мировом контексте. Точно также периодически возникающие волны интереса к «этническому» кинематографу (японскому, корейскому, иранскому, сербскому), основной составляющей которого является акцент на культурную экзотику, служат отражением данного измерения. В качестве оборотной стороны культурного измерения глобализации выступает технологизация и стандартизация управления культурными единицами: американская бизнес-стратегия упаковки и продвижения произведений культуры на международном рынке продемонстрировала свою очевидную успешность и теперь служит образцом для всего мира. При этом представляется неверным оценочное отношение к повсеместному распространению американизованных продуктов массовой культуры – вполне возможно, что это просто наиболее эффективный способ работать

с культурой в глобальном обществе. Культурный аспект глобализации, рассматриваемый в нейтральном аналитическом ключе, вполне может быть признанным на сегодняшний день столь же значимым, как и экономический.

Пятое измерение глобализации означает распространение общих рационализованных инструментальных моделей организации деятельности по всему миру. Проще говоря, общие модели социального порядка становятся преобладающими в схожих локальных социальных условиях. Инструментальная культура базируется на принципах рационализации и максимальной унификации разнородных элементов. Другими словами, речь идет об институциональном изоморфизме: к примеру, ТНК и система бизнес-образования стремятся распространить общую модель западной организации. Идея институционального изоморфизма возникла еще в начале 80-х годов в работах неоинституционалистов ДиМаджио и Пауэлла. Изоморфизмом можно назвать процесс изменения в организациях, который поддерживает сходство организаций под влиянием одинаковых окружающих условий. Можно выделить два типа изоморфизма: конкурентный и институциональный. Конкурентный изоморфизм происходит под давлением внешних факторов, которые, как считал М. Вебер, стали катализаторами процесса бюрократизации:

1) наличие конкуренции между капиталистическими фирмами за рыночное пространство;

2) борьба между государствами, при которой возрастает значение необходимости контроля за чиновниками и гражданами;

3) требования равенства перед законом, которые выдвигались буржуазией [16].

Таким образом, конкурентный изоморфизм ведет к рационализации управленческих практик и бюрократизации организаций. Согласно новоинституциональным теориям конкурентный изоморфизм в большей степени характерен для начального этапа развития индустриального капитализма, когда в большинстве отраслей преобладали условия совершенной конкуренции, а монополистические и олигополистические

рынки находились в стадии формирования. Изменившиеся «правила игры»« заставляют организации следовать институциональному изоморфизму, то есть организации начинают принимать во внимание не абстрактное внешнее рыночное окружение, а другие организации, находящиеся с ними на одном поле. Конкуренция в данном случае идет не только за экономические ресурсы и потребителей, но также за политическое влияние и институциональную легитимацию[13, с.148].

ДиМаджио и Пауэлл считают, что есть три механизма, с помощью которых реализуются институциональные изоморфные изменения:

1) вынужденный изоморфизм – результат формального и неформального давления на организации со стороны других организаций, от которых первые зависят;

2) подражательный (mimetic) изоморфизм – результат стандартного ответа организации на неопределенность. Когда организационные технологии плохо освоены, цели двусмысленны, а окружение создает символическую неопределенность, тогда организации имитируют другие организации, стремясь избежать влияния неопределенности;

3) нормативный изоморфизм связан с действием групп профессионалов в организациях. Профессионалы через свои объединения и ассоциации оказывают влияние на изменения, происходящие в организационных структурах [13, с.148 – 152].

Кроме названных пяти измерений феномен глобализации характеризуется тем, что во многих социальных пространствах возникают и глубоко укореняются общие модели нарративов об экономической, политической и социальной сферах, если следовать компьютерной терминологии (скрипты), организованные в мировой дискурс. К таким моделям Маейр относит [14].

1. Общества формируют общие модели национально-государственной идентичности и целей. Эти готовые формы, с фиксацией на определенный момент времени, представлены в национальных конституциях и проектах национальных целей. По существу, все национальные государства сейчас определяют свои фундаментальные цели в понятиях социально-эко-

номического развития, государства всеобщего благосостояния (welfare-state), прав человека и равенства.

2. Общие модели социально-экономического развития также присутствуют в готовом виде, и национальные политики (policies) меняются параллельно с изменением этих мировых скриптов. Экономическая политика следует мировым волнам в этой сфере, а иногда даже мировой моде, например, недавние волны приватизации и рыночного либерализма. Огромную волну политических и практических изменений породило появившееся относительно недавно мировое движение за сохранение окружающей среды. Следствием этого стали масштабные перемены, например, значительный рост числа национальных парков по всему миру; это лишь один довольно специальный пример воздействия на окружающую среду посредством специальной политики.

3. Общие модели прав человека также присутствуют в готовом виде и продуцируют волны национальной политики и практических изменений в таких областях, как статус этнических и расовых меньшинств или женщин. Очевидно наличие общемировой волны, подчеркивающей значение прав человека и демократизации.

4. Образование, связанное с идеологией прав человека и социального прогресса, оказывает огромное воздействие в форме образовательной экспансии по всему миру. Образовательные стандарты и учебные планы имеют готовые и стандартизированные характеристики как для массового, так и элитарного уровня образования.

Важное следствие распространения названных моделей заключается в неожиданном изоморфизме. Общества вдруг принимают схожие формы модеринити (в государственных структурах, образовательной системе и экономике). Примером этому могут служить исследования экспансии участия женщин в высшем образовании. Эти исследования, например, показали, что даже в исламском мире, где это происходило медленнее, все равно все страны в значительной степени участвовали в этом. Достаточно привести пример Ирана и Саудовской Аравии.

Второй взгляд на глобализацию, который будет здесь рассмотрен, предлагается исследователем из Стокгольма Бартельсоном. Бартельсон считает, что субъективно глобализацию часто интерпретируют как процесс, происходящий «где-то там» («out there») [11]. То есть рассуждения о глобализации в меньшей степени относятся к месту и времени, в котором они происходят. Кроме того, часто рассуждения о глобализации носят явно идеологизированный характер: например, Бурдье и Вакант полагают, что «глобализация – это эффект, если не функция погружения результатов империализма в культурный экуменизм или экономический фатализм, и формирование транснациональных взаимоотношений власти, проявляемых как нейтральная потребность» [12]. Дистанцируясь от подобных трактовок глобализации, Бартельсон предлагает рассматривать глобализацию в трех измерениях: первое – глобализация как трансференция (перенос), второе – глобализация как трансформация и третье – глобализация как трансценденция.

Первый и наиболее общий смысл глобализации заключается в том, что она рассматривается как интенсифицирующаяся трансференция или обмен идеями между существующими политическими, экономическими и культурными единицами. Таким образом, глобализация означает процесс обмена, который происходит на уровне отдельных единиц, интерпретируемый преимущественно в понятиях неопределенности последствий интеракции между единицами. Глобализация как трансференция, таким образом, подразумевает обмен вокруг существующих границ отдельных единиц, а так же между единицами и системой, но при этом предполагается, что сама система также как и отдельные единицы системы сохраняют идентичность в процессе глобализации [11]. Примером данного понимания глобализации может служить процесс интернализации предприятий. Из-за усиливающейся конкуренции отдельные фирмы постепенно интернализуют свое производство и продажи, становясь, таким образом, всё менее связанными с территориями, на которых они располагаются (territorially disembedded). Последствием такой поверхностной

интеграции является то, что фирмы могут стать мультинациональными или даже транснациональными по характеру, и все же каждая фирма всегда остается особой формой организации, отличной как от глобального рынка, где ей приходится действовать, так и от других организационных форм, например государства. В данном контексте глобализация в сфере культуры происходит как результат обмена между существующими культурными единицами, что создает основу для дебатов относительно культурой гегемонии и империализма [11].

Глобализация может рассматриваться и как процесс трансформации, которая происходит на уровне системы и воздействует на эту систему так же, как воздействует на идентичность отдельных единиц. В таком понимании глобализация имеет место на уровне, превосходящем уровень отдельных единиц, и является результатом взаимодействия между системными переменными через различные окружения и сектора данной системы. Степень вовлеченности отдельных единиц в этот процесс демонстрирует степень их вовлеченности в цикл воспроизводства системных процессов и сил, в конечном счете меняющих их идентичность и конститутивные правила системы, в которой они действуют [11]. Идею глобализации, реализованную в таком виде в социологии, можно обнаружить в работе И. Уоллерстайна «Современная мировая система», где он анализирует не траектории развития отдельных государств или обществ, но изменения в них трактуются как последовательная эволюция и взаимодействие в пространстве мир-системы, и уже только эта мировая система имеет границы, структуры, группы участия, правила легитимации и некоторую последовательность [11].

Для иллюстрации напомним основные методологические исходные анализа И. Уоллерстайна. Английский теоретик идет к определению единицы анализа через введение понятия «историческая система». Мир социального представляет собой сосуществование многочисленных широкомасштабных и долговременных ценностей – исторических систем, которые обладают следующими характеристиками: 1) относительной автономией;

2) временными рамками; 3) пространственными границами. Историческая система, таким образом, – это структура разделения общественного труда, внутри которой изменение одного из элементов ведет к изменению других элементов и системы целом [15]. Единственной исторической системой, сумевшей распространить свое влияние на весь Земной шар, является современная «европейская» мир-экономика, которая может по праву считаться действительно первой *глобальной* (курсив мой. – *Р.А.*) исторической системой [4, с. 412].

Если рассматривать глобализацию как трансцеденцию, то этот процесс приносит изменения идентичности не только отдельных единиц и системы, но также условий существования и пространств, где они локализованы. Глобализация, следовательно, отделяет человеческие практики от пространства и времени (процессы despatializes и detemporalizes). Этот взгляд на глобализацию делает возможным роспуск независимых государств и передачу их функций международной системе или обществу как пространственной форме политической жизни. Это приводит к де-территоризации и расщеплению идентичности и политической власти. Глобализация в данном понимании также подорвет «социальность» как объект государственной политики и поставит на первое место сообщество (community) в качестве новой цели управленческой тактики. Глобализация в таком понимании это не взаимопроникновение внешнего и внутреннего, но скорее процесс распада отличий между внешним и внутренним[11].

Итак, возвращаясь к глобализации, можно сказать, что в предельном смысле глобальное общество – это единые общество, экономика и культура, объединяющие весь земной шар. Полностью реализованное глобальное общество – это общество, в котором географические барьеры и политические границы ни от чего не ограждают [5, с. 10 – 11]. Немецкий социолог Ульрих Бек отмечает, что *глобальность привела к тому, что мы давно уже живем в обществе, где* представление о замкнутых пространствах превратилось в фикцию. Ни одна страна или группа стран не может отгородиться друг от друга.

Различные формы экономического, культурного, политического взаимодействия сталкиваются друг с другом, поэтому даже само собой разумеющиеся вещи, в том числе и самоочевидность западной модели, приходится оправдывать заново [1]. При этом ключевую роль в интеграции элементов мирового сообщества играют средства массовой коммуникации.

Вообще говоря, если немного утрировать, то важнейшим средством глобализации являются СМК. Преимущественно благодаря СМК возникает возможность взаимного проникновения культурных образцов и общих нарративов в глобальном масштабе.

Именно СМК и породили эффект массовизации культуры. Надо отметить, что по сравнению с глобализацией – массовизация более старый сюжет. Массовизация стала одним из дополнительных результатов, что называется, необязательных бонусов индустриализации и появления современных буржуазных обществ. Массовизация породила особый феномен – массовую культуру, которая критически оценивается большинством теоретиков, например представителями Франкфуртской школы. Массовая культуры, по их мнению, формирует новые типы ложной идеологии, усыпляющим образом действующие на сознание большинства. Изощренные технологии масс-медиа в полной мере способствуют этому процессу. В таком понимании тоталитарная культура сливается с массовой, популярной культурой, становясь средством манипулирования сознанием индивида: «контроль за информацией, поглощение индивида повседневностью приводят к упадку сознания, дозированию и ограничению знания. Индивид не знает, что происходит в действительности; сверхмощная машина образования и развлечения объединяет его вместе с другими в состоянии анестезии, из которого исключаются все вредоносные идеи» [8, с. 103]. Кроме того, массовую культуру обвиняют в унификации общества, проявляющейся в унификации поведения, послушном следовании единому образцу [9, с. 15]. С другой стороны, массовая культура способствовала снижению аномии в обществе на этапе бурного подъема промышленного производства, сопровождающегося интенсивной

урбанизацией и разрывом традиционных социальных связей. То есть анестезирующий эффект массовой культуры нельзя рассматривать только как безусловное зло. Почему же произошла массовизация культуры? В ответ на данный вопрос можно выдвинуть несколько предположений.

Первое: массовизация стала следствием утраты монополии элит на производство культурного образца. Массовизация как следствие распада элитарной культуры – утрата монополии на производство культурных образцов элитами: сначала дворянством, а затем буржуазией. В конце XX столетия представители всех крупных социальных групп утратили контроль за процессом культурного производства. Эрих Фром в своей известной работе «Революция надежды» пишет о классе управленцев – последней квазиэлите: «Они уже не элита в прежнем смысле, то есть группа, созидающая культуру». Господствующий сегодня в социологии образ социальной дифференциации в индустриальном обществе характеризуется прежде всего тремя элементами: во-первых, речь идёт о тенденции нивелирования в смысле сближения «верхов» и «низов». Утверждается, что со времен французской революции все люди имеют всеобщий равный основной статус, статус граждан государства. Принципиальные различия между людьми в обществе устранены. Градуальные различия, которые остались, не так велики, как раньше; по доходам и престижу, образованию, и даже власти, иерархия социальной дифференциации уменьшилась [3,с.92]. Массовизация сопровождалась нарастающим недовольством интеллектуалов. Европейские интеллектуалы принимают роли защитников «настоящей культуры», разъедаемой ржавчиной массовизации. В этом смысле показателен пример академических элит кайзеровской и веймаровоской Германии («мандаринов»): в себе они видели единственных хранителей идеалов культуры, которые девальвируются под воздействием рационалистичной, унифицирующей, массивизирующей цивилизации. Так массовизация стала причиной противопоставления цивилизации (утрата идентичности) и культуры (консервация идентичности).

Второе: массовизация – индустриализация, проявляющаяся как рациональная организация труда, поддерживающая идею ускоряющегося технологического развития средств производства. Индустриальное общество – это массовое общество, то есть в той мере, в какой в этом понятии содержится поддающийся выражению смысл, – такое общество, в котором индивид становится лишь песчинкой, неотличимой от других, себе подобных существ. Он теряет свою индивидуальность – либо как игрушка демагогов, либо как объект рекламы и так называемых средств массовой информации, либо как «управляемый извне человек».

Третье: массовизация – это массовое потребление. Доступность товаров, реклама, стимулирование потребления – это то, что непременно сопровождает массовую культуру. Искусство и культура становятся товаром, обретающим соответствующую упаковку. Например, в 2002 году Новая Зеландия заняла первое место по туризму, потому что там снималась голивудская версия «Властелина колец» Толкиена: все хотели посмотреть на Средиземье. Показательно, что появление безличной публики «буржуа» и вторжение методов и техники, заимствованных из экономической сферы, типа коллективного творчества или коммерческой рекламы культурной продукции, совпало с отказом следовать эстетическим ожиданиям «широкой публики» и с методическими усилиями отделить «создателя» от общего, т.е. как от «народа», так и от «буржуа», противопоставляя плоды своего творческого воображения, не имеющие аналогов и цены, взаимозаменяемым и сводимым к рыночной цене продуктам серийного производства; это утверждение абсолютной автономии «творца».

Четвертое: технология обработки распространения информации. Появление новых возможностей распространения информации становится катализатором процесса массовизации культуры. Первым продуктом массовой культуры иногда называют работы Лютера, который использовал открывшиеся широкие возможности книгопечатания для пропаганды своих идей. Сегодня – это Интернет, ТВ, кино (Голливуд, прежде всего, а также этническое кино как эксплуатация этноидентичности).

Пятое: проникновение в культуру рыночных принципов, рационализирующих процесс культурного производства и потребления. Когда культура стала рынком – она сразу утратила возможности для сохранения культурной идентичности. Новый сектор экономики опирался на несколько «китов». Во-первых, абсорбировав молодежную эстетику 60-х, возникла огромная отрасль молодежной моды в одежде (Kelvin Klein), музыке (MTV) и т.п. Во-вторых, современное искусство стремительно коммерциализировалось, превратившись из преимущественно некоммерческого занятия интеллектуалов в прибыльный бизнес, осуществляемый через сети частных галерей[1].

Еще Лазарсфельд и Мертон показали, что потоки информации часто способствуют усыплению, наркотизации, нежели активности рядового читателя или слушателя. Чем больше времени рядовой зритель, слушатель, читатель проводит за потреблением продуктов массовой культуры, тем меньше времени остается на организованное социальное действие [7, с. 85 – 86]. То есть мобилизация масс становится делом почти невозможным в эпоху глобализованного общества, объединенного идентичностью массовой культуры. В специфическом отношении средства массовой коммуникации могут быть причислены к наиболее эффективным и признанным социальным наркотикам. Они настолько эффективны, что наркоман не осознает своей болезни.

Кроме того, эффект массовизации культуры связан с тремя «У»: упаковкой, упрощением, унификацией. Упрощение – когда произведения культуры препарируются таким образом, что становятся объектом развлечения, а не искусства. Например: упаковка – когда объекты культуры обретают формат, доступный для восприятия самой широкой аудиторией: нарочито эротизированная, экспрессионистская манера исполнения Ванессой Мэй произведений Вивальди. Унификация – следст-

[1] Жан-Марк Сальман (руководитель боевых групп Союза коммунистической молодежи) – крупнейший продавец французских книг в Нью-Йорке.

вие реализации принципа массовой культуры «всё для всех»: здесь можно отметить описываемые многими тенденции макдонализации и икеизации[2] культуры.

В глобальном обществе названные обстоятельства, порождающие эффект массовизации культуры, обрели новые масштабы, которые многим кажутся пугающими.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бек У.* Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001.

2. *Валлерстайн И.* Капиталистическая цивилизация // Глобальные и региональные проблемы в работах Иммануила Валлерстайна. М.: ИНИОН, 1998.

3. *Дарендорф Р.* Тропы из утопии. М.: Праксис, 2002.

4. *Девятко И.Ф.* Капитализм как теоретико-методологическая проблема посткризисной социологии. Глобальная социология И. Уоллерстайна // История теоретической социологии: В 4 т. / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов СПб.: РХГИ, 2000. Т. 4.

5. *Девятко И.Ф.* Модернизация, глобализация и институциональный изоморфизм: к социологической теории глобального общества // Глобализация и постсоветское общество (Аспекты 2001). М.: Стови, 2001.

6. *Кастельс М.* Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.

7. *Лазарсфельд П.Ф., Мертон Р.К.* Наркотизирующая дисфункция средств массовой коммуникации // Средства массовой информации и социальные проблемы: Хрестоматия. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2002.

8. *Маркузе Г.* Эрос и цивилизация. Киев, 1995.

9. *Теплиц. Т.К.* Всё для всех. Массовая культура и современный человек. М.: ИНИОН, 1996.

10. *Фурсов А.И.* Мир-системная перспектива: основы методологии // Глобальные и региональные проблемы в работах Иммануила Валлерстайна: Реферативный сборник. М.: ИНИОН, 1998.

11. *Bartelson J.* Three Concept of Globalization // International Sociology, June 2000. Vol. 15(2). P. 180 – 196.

12. *Bourdie, P. Wacquant L.* On the Cunning of imperialist reason // Theory, Culture&Society. 1999. 16(1). P. 41 – 58.

[2] По названию шведской мебельной торговой сети IKEA.

13. *DiMaggio P., Powel W.* The Iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields // Am. Sociol. Rev. Vol. 48. P. 148 – 152.

14. *Meyer J.W.* Globalization. Sources and Effects on National States and Societies // International Sociology. June 2000. Vol. 15. (2). P. 233 – 248.

15. *Wallerstein I.* Historical systems as complex systems // European j. of operational research. Amsterdam, 1987. Vol. 30. №2. P. 203 – 207.

16. *Weber M.* Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Three volumes. New York: Bedminster, 1968.

К.Ф. Завершинский

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ: ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Проблема культурной идентичности в условиях глобализации, при всей дискуссионности вопроса о степени интеграции России в этот процесс, приобретает все большую значимость и для нашего общества. Наиболее актуальна эта проблема для тех российских регионов, непосредственно соприкасающихся с силовыми линиями растущей взаимозависимости обществ, где кризис «постсоветских идентичностей» постоянно усиливается рисками глобализации. Не сконструировав устойчивых символических объектов групповой «самости» и «тожести» (П. Рикёр), постсоветское культурное пространство все более подвергается культурной эрозии под влиянием сетевых информационных структур глобального сообщества.

Вместе с тем, несмотря на растущую актуализацию проблемы эффективности российских практик идентификации в условиях глобализации, ее обсуждение носит односторонний характер, даже если вынести за скобки откровенно утопические и эсхатологические сентенции по поводу «духовного» ответа России на вызовы западной цивилизации. Внимание исследователей концентрируется преимущественно в аспекте влияния социально-экономических, институциональных и

коммуникативных технологий сетевого общества на этнокультурные процессы в России. В связи с этим обсуждается проблема сохранения культурных традиций в условиях соприкосновения с гипертекстовой культурой «реальной виртуальности»; анализируются риски распространения фундаменталистских идеологий и религий, использующих современные информационные и военные технологии; фиксируется разрыв в культурной идентичности между «глобализированными» слоями больших российских городов и фрагментированным массивом идентичностей локальных сообществ; обращается внимание на семантические и исторические основания конфликта глобалистской («космополитической», «либеральной») и российской идентичности[1].

Однако при этом очевидном многообразии тематики культурных аспектов глобализации остается открытым вопрос о публичных, политических основаниях культурной идентификации в «сетевом обществе», что не только лишает дискуссию значимого теоретического горизонта, но и существенно препятствует методологической комплементарности частных исследовательских стратегий. Как справедливо отмечается в одном из аналитических обзоров, посвященных дискурсам глобализации, – истоки нынешних смысловых контекстов понятия глобализации коренятся в проблемах конструирования новых форм публичной власти в Новое время и связаны с концептуализацией прав человека и человеческого достоинства в этике, праве, политической философии. Современное же обсуждение «глобальных проблем» в известной мере вынесло эту сторону глобализации «за скобки» и сосредоточилось преимущественно на ее экономических, организационных и технологических измерениях. Все иные отношения, подразуме-

[1] Достаточно показательны в этом отношении аналитические материалы, представленные в тематическом выпуске издания «Pro et Contra» рядом ведущих российских исследователей по данной тематике – «Проблемы глобализации» или содержание доклада М. Кастельса и Э. Киселевой «Россия и сетевое общество» [24; 9].

ваемые этим понятием, хотя и не игнорируются, оказываются, в сущности, вторичными, подталкивая к пессимистическому выводу об отсутствии существенного прогресса в определении социально-политической составляющей глобальности «со времени работы Канта «К вечному миру»« [18, с.24].

Подобная односторонность в интерпретации процесса глобализации, по мнению автора статьи, связана с «эпистемологической инерцией» объективистских или субъективистских стратегий в исследовании взаимосвязи политики с иными социальными пространствами. Эпистемологический редукционизм субстанционалистского толка трактовки смысла политических практик часто ведет к исчезновению динамического плана социальной активности политических агентов и порождает одностороннее видение процесса, последствий глобализации. Эпистемологическая схема трактовки публичной власти как «способности субъекта обеспечить подчинение объекта» стимулирует репрезентацию публичной власти преимущественно как формы господства, связанной с выполнением приказов, директив (часто отождествляемую при этом с наличными ресурсами, позволяющим властвующим элитам осуществить свою волю и манипулировать «массами») или функциональной (управленческой) активностью граждан, организаций, партий или государства. Хотя многие исследователи специфики глобализации обоснованно и талантливо фиксируют на феноменальном уровне многоаспектность политических качеств «глобализирующихся сообществ», в дискурсе глобализации продолжают доминировать традиционные детерминистские или утопические схемы динамики политического и неполитического.

Так, в частности, А. Негри, констатируя, что не может быть глобального рынка как «политической категории» без соответствующей формы юридического правопорядка, а такой правовой порядок не может существовать без власти, которая гарантировала бы его действенность (эффективность), тяготеет все же к выводу, что на смену государству-нации идет «империя», созданная «коллективным капиталом», перестраи-

вающая инструменты контроля в соответствии с производственными и гражданскими схемами, адекватными тоталитарным способам воздействия на человеческую деятельность, окружающую среду, социальные отношения, культуру [14]. Другой, известный в России исследователь А. Неклесса, обоснованно отмечая в качестве характерных черт нового политико-правового континуума – нечеткость законодательной базы, превалирование властной политической инициативы над сложившимися формами поведения государств, принципиальную непубличность значительной части решений, принимаемых неформальными организациями (ведущую к «распечатыванию запретных кодов антиистории»), и призывая общественные науки вновь осознать себя «частью политики и этики», акцентирует все же внимание на том, что политическая логика нарождающегося геоэкономического универсума (заметно отличаясь от принципов организации международных систем Нового времени) ведет себя подобно экономическим гиперкорпорациям [15]. Подобный редукционизм в значительной степени и «ответственен» за превращение глобализации в своего рода «мегатермин», порождающий столь же пространные и долгие дискуссии, аналогичные дебатам о демократии, цивилизации, капитализме и социализме, культуре, безопасности» [2, с. 7].

Особенно очевидна ограниченность подобной эпистемологической установки в понимании значения политических аспектов глобализации при анализе ее культурных последствий для России. Когнитивный анализ культурных процессов (в частности, практик идентификации) в отечественной научной литературе зачастую подменяется публицистическими рассуждениями об «особенностях российского менталитета» или пространными конкретно-социологическими выкладками о состоянии ресурсной и организационной базы культурной интеграции-дистанцирования России по отношению к сетевым структурам глобального сообщества. Проблематика политической идентичности при этом выносится на периферию, подменяется рассуждениями об идеологической приверженности

или вовсе выносится за скобки. Справедливости ради следует отметить, что и в зарубежных исследованиях, несмотря на несомненные достижения в использовании современных стратегий исследования культурной специфики глобализирующегося общества, присутствует подобный редукционизм. Так, в сборнике статей под общим названием «Культура имеет значение», представляющем точки зрения известных ученых, вопросы о значении культуры для модернизации социальных структур находятся в соотнесенности с проблематикой политической культуры и демократии, но обсуждение «ценностей самовыражения» (Р. Инглхарт) и «социального капитала» (Ф. Фукуяма) лежит все-таки больше в плоскости религиозной, моральной и экономической [12].

В связи с подобными «эпистемологическими сбоями» представляется перспективным использовать при исследовании динамики политического и культурного пространства интеллектуальные интенции, заложенные в работах сторонников коммуникативных трактовок природы публичной власти и «социологического конструктивизма» наиболее комплементарных с теориями «социальных сетей», доминирующими в современных исследованиях глобализации[2].

«Конструктивистские» политологические и социологические парадигмы так или иначе ориентированы на анализ когнитивных структур (символических схем восприятия, оценивания и выражения) легитимационных практик, свидетельствующих об активной роли социальных агентов в конструировании культурной идентичности. Так как культурная идентичность всегда проявляется как когнитивно-оценочная структура представлений социальных агентов о себе, связанных с их позициями в многообразных социальных пространствах, эти символические схемы и позволяют социальным агенты идентифицировать, «классифицировать самих себя» (П. Бурдье),

[2] Подробнее об авторском видении перспектив использования этого методологического инструментария в исследованиях политико-культурных феноменов см. в [4].

выступая своего рода «программами» социальных практик, интериоризированными значениями социальных позиций, ставших личностными свойствами в результате социализации и усвоения культурного опыта. На эти же аспекты конструирования культурной идентичности обращают внимание и исследователи, связывающие глобальные социальные трансформации последних десятилетий со становлением «сетевого общества». Так, по мнению М. Кастельса, именно символическое пространство, сформированное и структурированное как подвижный и диверсифицированный гипертекст, являет собою культуру «реальной виртуальности» [21, p. 13].

Индивиды, усваивая и приспосабливаясь к эти символическим структурам, совмещая их с уже имеющимися, конструируют индивидуальные и групповые идентичности. Такого рода устойчивые символические схемы выступают своего рода «символическими кодами» социокультурной динамики, оказывающими «принуждающее» воздействие на «объективированные» институты и ресурсы. Символическая кодификация различных видов знания (религиозного, морального, экономического, политического и т.п.) составляет тем самым основу культурного продуцирования, а ее «результатом» оказывается возникновение символических кодов (матриц), образующих динамичные конфигурации. Специфика культурной символизации заключается в том, что подобные коды обладают потенциалом взаимосогласования (легитимации) символических схем, обеспечивая их «безусловную» значимость и выступая «основанием надежных ожиданий» (Н. Луман) в многообразных социальных пространствах[3]. Культурная идентичность тем самым выступает результатом процесса легитимации, символическим способом группового самоопределения в пространстве данной культуры. В этом смысле политическая идентичность – разновидность культурной иден-

[3] Понятие «легитимность» используется в данном случае не в смысле узаконивания a posterioi отношений господства, а как «общий горизонт смысла, служащий точкой отсчета для акторов в ходе их действий» [11, с. 155].

тичности, и как любая иная культурная идентичность, на что обращают внимание многие авторы, предполагает символическую проекцию и когнитивные средства, которые выступают источником формирования групповых общностей, символически очерчивая их границы [10, с. 43 – 44; 16, с. 108 – 111; 17, с. 969 – 971; 6, с. 97].

Методологическим же основанием современных версий символической природы публичной власти могут служить теоретические посылки, обозначенные, в частности, в работах Т. Парсонса и Х. Арендт. «Власть, – как отмечала Арендт, – есть то, что зовет к существованию и вообще удерживает в бытии публичную сферу» [1, с. 265]. В рамках подобной трактовки природы политики власть предстает как средство всеобщей связи при осуществлении целедостижения, обеспечивающее выполнение взаимных обязательств. Такого рода согласование целей способствует установлению порядка, означающего предсказуемость действий, которые начинают пониматься как выполнение обязательств. Репрезентация публичной власти как средства всеобщей связи в процессе целедостижения (преодоления беспорядка и оформления социального порядка) неизбежно актуализирует исследовательский интерес к коммуникативным аспектам политического пространства, ибо эффективная устойчивость политических структур, а следовательно, и всего общества оказывается возможной лишь тогда, когда власть приобретет характер символического посредника. Чем выраженней «коммуникативное» начало политической власти, тем мене проявляется ее насильственная сторона и развитей ее легитимизирующий, символический потенциал.

Развитое политическое поле можно рассматривать тем самым как результат объединения многообразных полей социальных практик, превращения «несовершенной» власти во «вполне совершенную» (организация и координация действий ради достижения согласованных целей). Политическая, публичная по своей природе власть, «оказавшаяся» за пределами «своего» пространства, может выступать и как неполитиче-

ская (экономическая, научная и т.п.), располагать своими специфическими средствами всеобщей связи и обеспечения выполнения взаимных обязательств (деньгами, знаниями и т.п.). Однако при отсутствии политического аспекта эти средства не способны выступать в роли эффективной всеобщей связи и обеспечивать устойчивый социальный порядок [5, с. 83 – 86, 106]. Подобный взгляд на природу власти и соотношение власти и политического позволяет, по мнению автора статьи, изжить одностороннее представление о публичной власти как инструментальном ресурсе насилия и, следовательно, одностороннюю трактовку роли политической идентичности в культурном процессе. Кроме того, такая интерпретация природы властных отношений совместима с концептуальными наработками представителей «социального конструктивизма» и «сетевого общества», акцентирующих на том, что в современном обществе символические гипертексты оказывают все большее влияние на политику, свидетельством чего является структуризация сферы массовой информации как политического поля, когда «власть информационных потоков преобладает над потоками власти» [21, p. 20].

Подобный взгляд на характер публичной власти позволяет соответственно интерпретировать характер взаимосвязи культурного и политического пространства, в процессе чего конструируется политическая идентичность.. Среди символических кодов особую роль в сложноорганизованном обществе играют коды политической легитимации, которые отличаются от других коммуникативных средств тем, что требуют от участников интеракций «редуцирования комплексности действиями» («осознанным селективным выбором») (Н. Луман). Именно такие коды обеспечивают процедурную «ассоциацию» с более частными и являют собой комбинацию «символически генерализованных правил», уровень сложности которых зависит от характера задач социальной интеграции. По мнению Н. Лумана, наличие такого кода и взаимосвязанного с ним более частных обусловили истоки и достижения цивилизационной динамики [20, с. 34 – 36, 42, 48 – 62].

По мере становления более сложных и конфликтных форм социальных интеракций, политии (первоначально в социальных пространствах европейской культуры) все очевидней испытывают потребность в становлении нового качества политической легитимности с соответствующими практиками идентификации, стимулирующей оформление «более широких институциональных площадок» и «поощряющей» индивидуальную активность в выработке и интерпретации правил политической игры [13, с. 87]. Развертывание данного процесса в конечном счете и привело к доминированию специфических процедурных схем в символическом коде политической легитимации и оформлению двух его основных разновидностей («либеральной» и «республиканской») «оппортунистической» (Н. Луман) версии последнего. Этот символический код предопределил высокую институциональную инновационность западной цивилизации и специфический способ ее легитимации «гражданское общество» с соответствующей «гражданской идентичностью».

Отталкиваясь от этих методологических посылок, а также от постулата о сложной когнитивно-оценочной структуре политической легитимности, можно заключить, что любая культурная легитимация и идентичность (экономическая, религиозная, этническая и иная) как ее неотъемлемая составляющая при всей своей относительной автономии не способна быть долго устойчивой при отсутствии генерализирующего кода публичной (политической) власти. И наоборот, от «качества» символического производства и способов его конвертации в политическое пространство зависит способность публичной власти эффективно выступать в роли средства всеобщей связи в осуществлении процесса целедостижения. Коммуникативный потенциал частных культурных идентичностей явлен наиболее очевидно при наличии эффективной политической идентичности. Маловероятно, что попытки конструирования в современной России культурной идентичности на основе тех или иных локальных практик легитимации (религиозных, этнических, идеологических, в частности), вне зависимости от

перспектив конвертации их символического капитала в эффективные формы гражданской идентичности, могут быть успешными и методологически корректными. Как впрочем, и малоэффективны редукции структуры символов политической идентичности исключительно к ценностным схемам, вне учета развитости процедурных и габитусных схем идентификации.

Подобный взгляд на культурную природу политической идентичности позволяет скорректировать ограниченность, свойственную политическому дискурсу глобализации: преодолеть экономический, информационный, ценностный и иной детерминизм при интерпретации специфики политической идентичности в условиях глобализации и выйти за рамки идеологической дихотомии национально-государственной и «сетевой» идентичности. Очевидно, что, при обсуждении влияния процесса глобализации на культурную идентичность тех или иных регионов или государств, вопрос о публичной идентичности самой глобализации – один из ведущих. При всех декларациях усиления делегитимации национальной государственности, возрастании роли теневых экономических и информационных транснациональных институтов, потенциала антиглобалистских движений, пока еще нет оснований ожидать «отмирания национальных государств» и характерных для них форм политической идентичности. Ближе к истине те авторы, которые полагают, что идет перестройка и адаптация национальной государственности к процессу сетевого распределения («распыления») публичного авторитета между многообразными центрами, что соответственно ведет к трансформации традиционных способов политической идентификации, и в частности – гражданской. Гражданская солидарность – не есть некий изначально спланированный результат исторического развития, она вариативна, причем в процессе ее воссоздания и разрушения играют не только рамочные параметры политического доминирования государства или сообществ государств, а и то, что «люди думают о нем» [25, p. 731 – 731; 22, p. 50 – 54; 23, p. 84 – 85].

Более того, именно в условиях глобализации актуализируются интеллектуальные интенции, обозначенные в свое время И. Кантом в проекте «всемирно-гражданского состояния». Отталкиваясь от посылки, что истинные задачи политики – обеспечение согласования частных целей, которое делает «довольным своим состоянием общество» «благодаря публичности», доверию к политическим максимам возможном при республиканском устройстве государства, немецкий философ приходит к выводу, что условие достижения культурного состояния – такой строй отношений между людьми, когда ущемлению, обусловленному столкновением различных видов свободы, противопоставляется законосообразная власть в неком целом – гражданском обществе. Однако для достижения эффективного гражданского состояния требуется «всемирно-гражданское целое», способное «предотвратить опасность нанесения взаимного ущерба», опирающееся на «союз народов» (ответственную правомочность), а не на «государство народов» [7,с.306,307; 8,с. 18 – 19, 55].

Речь в данной статье, конечно, не идет о буквальном следовании теоретическим посылкам И. Канта. Естественно, что немецкий философ осмысляет проект «всемирно-гражданское состояние» в горизонте опыта своего времени, но нельзя не согласиться и с посылками современных исследователей, полагающих, что глобализация не только расщепляет мир политически, но одновременно как «рисковую общность» (Ю. Хабермас) побуждает его к сотрудничеству, актуализируя интенции И. Канта на поиски оснований всемирной публичности и общественности как источника новых гражданских идентичностей [19, с. 278, 293 – 294, 305]. Конечно, гражданские коды символической идентификации не являются универсальной панацеей для обеспечения устойчивого и эффективного социального порядка, но очевидно также и другое, что подобная идентичность способна обеспечивать более высокий уровень социальной мобильности, инновационной активности и толерантности по отношению к более традиционным практикам политической легитимации.

В новоевропейских политиях при всех сложностях, порожденных становлением сетевых структур, продолжают доминировать гражданские практики политической идентификации, что выражается в развитии специальных институтов опосредования между государством и иными формальными институтами, а также в наличии символических кодов «гражданской солидарности» («гражданской культуры») с соответствующей переговорной и процедурной практикой. В обществах, поздно вступивших в «эпоху современности», в аксиоматике социально-политической легитимации и идентичности по-прежнему преобладают более архаические схемы, которые в условиях экспансии сетевых структур радикализируются, стимулируя острые кризисы идентичности. В этом контексте изучение перспектив конструирования символических матриц гражданской идентичности в России (где делаются только первые шаги к институтам по «типу гражданского» общества» [3, с.34]), совместимых с практикой формирующихся глобальных сообществ, является своего рода «методологическим фокусом», обеспечивающим теоретическую комплементарность исследования более частных практик культурной идентификации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Арендт Х.* Vita activa, или о деятельной жизни. СПб., 2000.

2. *Глобалисты* и антиглобалисты: взгляд из приволжского федерального округа. Проектные материалы. Н. Новгород, 2003.

3. *Гражданское* общество. Мировой опыт и проблемы России. М., 1998.

4. *Завершинский К.Ф.* Когнитивные основания политической культуры: опыт методологической рефлексии // Полис. 2002. №3.

5. *Ильин М.В.* Слова и смыслы. М, 1997.

6. *Казанцев А.А.* «Ваххабизм»: опыт когнитивного анализа институтов в ситуации социокультурного кризиса // Полис. 2002. №5. С. 96 – 109.

7. *Кант И.* Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994.

8. *Кант И.* К вечному миру. Философский проект. 1795 // *Кант И.* Соч.: В 8 т. М., 1994. Т. 7. С. 6 – 56.

9. *Кастельс М., Киселева Э.* Россия и сетевое общество. Аналитическое исследование // Мир России. 2000. №1 (http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol00_1/castels.htm)

10. *Коктыш К.Е.* Закономерности и динамика развития социальных онтологий // Полис. 2002. №3. С.41 – 56.

11. *Коркюф Ф.* Новые социологии. М.; СПб., 2002.

12. *Культура* имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу // Под. ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. М., 2002.

13. *Луман Н.* Власть. М., 2001.

14. *Негри А.* Наступает ли кончина государства-нации? // Империя как высшая стадия империализма (http://www.archipelag.ru/text/289.htm2/03)

15. *Неклесса А.* ORDO QUADRO – Четвертый порядок: пришествие постсовременного мира // Мегатренды мирового развития (http://www.archipelag.ru/text/289.htm2/03)

16. *Поцелуев С.П.* Символические средства политической идентичности. К анализу постсоветских случаев // Трансформация идентификационных структур в современной России. М., 2001. С. 106 – 159.

17. *Тейлор В., Уиттер Н.* Коллективная идентичность в группах общественных движений – Введение в гендерные исследования. Харьков, 2001; Ч. 2. СПб., 2001. С. 963 – 991.

18. *Фомичев П.Н.* Дискурсы глобализации и тенденции развития социологии: Аналитический обзор // Социологические исследования на пороге XXI в. М., 2000. С.23 – 58.

19. *Хабермас Ю.* Вовлечение другого: Очерки политической теории. СПб., 2001.

20. *Эйзенштадт Ш.Н.* Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость (II) // Полис. 2002. №3.

21. *Castells M.* Materials for an exploratory theory of network society // Brit. J. of. Soc. 2000. N 51. P. 5 – 24. (http://www.gender.ru/russian/digest/2002-01/research.shtml#H007)

22. *Keane J.* Civil society: old images, new visions. Stanford, California, 1998.

23. *Evans P.* The Eclipse of the State? Reflections on Stateness in an Era of Globalization // World Politics 50.1 (1997) P. 62 – 87.

24. *Pro et Contra.* 1999. Т. 4. №4. (Проблемы глобализации).

25. *Christenson G.A.* World Civil Society and International Rule of Law – Human Rights Quarterly, 19.4 (1997) P. 724 – 737.

Т.Г. Струкова

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН

В конце XX и начале XXI века человечество переживает небывалые по глубине и последствиям перемены, которые, несомненно, нуждаются в осмыслении и объяснении. Поворот в общественном мироустройстве настоятельно требует не только изменения сознания человека, но и предвидения его результатов. Стандартизация мира, создание с помощью Интернета «глобальной деревни», новое понимание пространства и времени, стремление «надеть золотой корсет» (по словам сторонника глобализации Т. Фридмана, эти правила имеют «один размер для всех») рыночной экономики на все страны мира приводят к столкновениям разных форм цивилизации. Нынче насчитывают семь парадигм цивилизации – западная, восточноевропейская, латиноамериканская, исламская, индуистская, китайская и японская.

На настоящий момент в национально-государственном и культурном поле современной цивилизации достаточно сложная ситуация: глобализация, дающая возможность реализовать в первую очередь экономический потенциал в любой стране мира, диктует необходимость уменьшения роли нации и национального государства, она микширует всё «национально особенное», подтачивает национальные традиции, вынуждает преодолевать культурные запреты. А. Дирлик пишет в статье «Постколониальная аура: критицизм третьего мира в эпоху глобального капитализма»:

> «Если говорить политкорректно, то второй и третий мир стали главными жертвами этого кризиса. Второй мир, мир стран социализма, если говорить прямо, уже история. То, что случилось с третьими миром (непосредственным субъектом постколониальности), может быть, менее очевидно, но не менее важно» [5, с. 312 – 313].

Однако не все нации готовы принять и исповедовать глобалистскую практику, хотя социолог Ф. Фукуяма объявил о «конце истории», то есть том ее периоде, для которого было характерно резкое противостояние двух систем. Рубеж веков особо актуализирует надежды на перемены, но ожидания чаще всего тревожные. Э. Тирьякьян и Дж. Александер, ориентируясь в основном на англосаксонскую культуру, называют современное состояние мира *неомодернизмом,* акцентируя усиление веры в науку и возвращение к устойчивым традициям индивидуализма, имеющим в своей основе протестантскую этику. В сборнике статей американских политологов «Глобальные трансформации. Политика, экономика и культура» есть такой пассаж:

> «Всемирная диффузия потребительской идеологии создает новое чувство идентичности, заменяющее традиционные основы и прежний образ мысли. Глобальное распространение либеральной демократии еще более укрепляет ощущение, что возникает глобальная цивилизация, определяемая универсальными стандартами экономической и политической организации» [8, с. 4].

Ф. Фукуяма, прогнозируя развитие современной цивилизации, полагает, что идея глобализма имеет своим реализованным итогом создание лингвистически гомогенного континиума, который сокрушит государственные и национальные барьеры. В этом случае уничтожение национальной идентичности, а именно она, если следовать Ф. Фукуяме, мешает развитию интегрированного мирового сообщества, приводит к тому, что у индивида отсутствует «тимос», то есть необходимость признания другими. Прямым следствием внедрения подобной идеологемы является создание гомогенного круга людей, что, естественно, не гарантирует равных возможностей всем без исключения странам мира, о чем с горечью писал Э. Сейд еще в 1976 году в работе «Ориентализм».

Кроме высказанной Ф. Фукуямой позиции существуют иные точки зрения, к примеру, профессор С. Хантингтон отмечает, что «люди Давоса», контролируя практически все эко-

номические институты, не способствуют гармоничному сосуществованию стран. Орден Иезуитов Мексики счел необходимым огласить собственное отношение к проблемам неолиберализма, который, на их взгляд, является «не только антихристианским, но и антигуманным» [7, с. 191]. Если говорить о критиках и противниках глобализации, то они есть не только во втором и третьем мире, но и среди интеллектуалов стран, которые являются несомненными членами клуба «золотого миллиарда». Вот, например, высказывание бывшего премьер-министра Франции Л. Жоспена:

> «Жестокость неолиберализма означает измену гуманистической сущности цивилизации как таковой» [3, с.82].

В США ученым, теоретически обосновавшим контрглобализм, признанно считается Дж. Голдсмит [11]. Сторонником сохранения истинно американских традиций, выражающим опасение об утрате Америкой национальной сущности, является П. Бачнан [4, с. 8]. В этом случае глобализация интерпретируется в качестве агрессивной силы, уничтожающей национальные, религиозные, культурные и семейные ценности. Если рассматривать точку зрения американских неоконсерваторов, то они выступают против разрушения демократических идеалов, заложенных отцами-основателями американской нации, и характеризуют глобализм как тотальное нашествие космополитизма. Именно этими факторами, комплекс которых значительно разнится в различных странах, обусловлено возвращение, иногда аффектированное, откровенно демонстративное, к корневым национальным ценностям, будь то религия, искусство или особенности национального быта.

Не все государства рискуют полностью выполнять правила «золотого корсета», унификация которых определяется сильнейшим из глобализаторов. Одни это делают частично, к примеру, Египет. Другие после шокового опыта расстаются с идеей всеобщей глобализации, например, Малайзия. Кстати сказать, ожидания положительного эффекта от «шоковой терапии» в России себя не оправдали. Наконец, третьи страны, такие, как Фран-

ция, Германия, Япония, предпринимают попытки обойти жесткие, и прямо скажем, лоббистски ориентированные условия присоединения к клубу преуспевающих держав, сообразуя единые экономические правила с особенностями национальной культуры, обращая особое внимание на роль государства, которое эти национальные традиции призвано охранять. Великобритания акцентирует свое отличие от американской культуры; сейчас существует понятие «англо-саксонская литература», в данной номинации очевидно подчеркивание более древних корней одной культуры по отношению к другой.

> «Потеря культурного наследия, утрата неповторимой национальной идентичности приводит к тому, что целые народы становятся «лишенными корней, атомизированными индивидуумами, свободными от связей с обществом… Мир, лишенный привязки к истории, языку, культуре и родству, в котором люди и предметы теряют ценность» [6, с. 29].

Британскому комментатору вторит профессор Массачусетского университета К. Хейл:

> «Потеря языка – словно бомба, сброшенная на Лувр. Когда исчезает язык, погибает культура. Мир становится менее интересным…мы приносим в жертву интеллектуальные достижения человечества» [10, с. 17].

Движение глобализации продуцирует не релятивизм культур, как декларировал канон академической науки США, а, напротив, деление мира на разновесные цивилизационные части. В труде «Глобальные трансформации» подчеркивается:

> «Культурная глобализация, гомогенизация, которые предсказывают в будущем интерпретаторы глобального сближения и единства мира, являются не более чем *мифами* (курсив наш. – *Т.С.*) [8, с. 6].

С. Хантингтон предупреждал, что главные и разрушительные столкновения в формирующемся мире будут происходить не на идеологическом или экономическом поле, а в области культурно-национальной идентичности.

> «Величайшей разделяющей человечество основой станет культура. Нации-государства останутся наиболее мощными действующими лицами в мировых делах, но основные конфликты в мировой политике будут происходить между нациями и группами людей, представляющими разные цивилизации. Культурные разделительные линии цивилизации станут линиями фронтов будущего» [9, с. 22].

Нации, объединенные языком, культурой, традициями, начинают защищаться перед лицом угрозы растворения в унифицированном мире. В искусстве это выглядит как протест против вестернизации, хотя глобализация и подгонка культуры под американский стандарт интерпретируется многими исследователями как явления неравнозначные. К примеру, Китаю и «южно-азиатским тиграм» пока удается сочетать достижения высокотехнологичной цивилизации с корневыми национальными ценностями.

Литература, которая чутко фиксирует настроения людей, давно обратила внимание на животрепещущую проблему современности – потерю личностной и национальной идентичности в период искусственно сконструированного «мира Давоса». Борьба против «тирании рынка» приобретает достаточно широкие масштабы, потому что многие интеллектуалы в развитых странах Европы понимают не только положительные стороны процесса глобализации, но и видят серьезные, а иногда катастрофические потери в национальных культурах и в национальном образе жизни. Происходит дифференциация понятий «рыночная экономика» и «рыночное общество». У первого вроде бы не предвидится альтернативы, так как основной целью объявляется выравнивание экономических условий существования людей, а второе подвергается резкой критике из-за превращения всего культурного богатства человечества в масскультурную жвачку.

Идея глобализма сама стимулирует формирование антиглобализма, который начинает структурироваться уже на государственном уровне, например во Франции. Если принять во внимание, что французские постструктуралисты добились

того, чтобы культура находилась под защитой государства, чтобы предпочтения отдавались национальной литературе, кино, искусству, и даже вывески были написаны по-французски, то становится понятно, почему именно во французском дискурсе возникло настоящее противостояние глобализму.

Социолог П. Бурдье публикует «Акт сопротивления тирании рынка», Ж. Бове, защищая французское крестьянство, выпускает книгу «Мир – не товар», а писатель В. Форрестер печатает роман «Экономический ужас». Причем эти авторы не одиноки, подобные книги получают широкий общественный резонанс потому, что в них отражены самые мрачные прогнозы развития цивилизации, реализовавшиеся именно из-за недостаточности демократического контроля за процессами глобализации, которые могут привести и уже приводят к замене не только понятий, но и практики глобализма, когда благое намерение гомонизации общества подменяется гегемонизмом одного государства, одной национальной традиции, одной культуры. Становится явным следующее: открыто декларируемая поливалентность мира мыслится как отношения сильного сюзерена и слабых вассалов, что отвергается многими интеллектуалами Европы и Америки.

Протест против создания единого глобального «золотого корсета» культуры и нивелирования личности свойственен, например, канадскому писателю Д. Коупленду (род. в 1961), который пишет по-английски, но то, что он выходец из двуязычной страны, делает его представителем двух культурных парадигм. Кроме этого важен фактор того, что Канада, будучи приграничной с США страной, всячески подчеркивает свою культурную инаковость. Коупленду принадлежат романы «Планета Шампунь» (1992), «Поколение Икс» (1994), «Жизнь после Бога» (1994), «Рабы Майкрософта» (1995). Названия произведений можно рассматривать в качестве откровенного и даже эпатажного вызова, но если заглянуть более глубоко, то становится очевидным, что они во многом отражают современное состояние западного мира. «Конец Истории», «смерть Бога» заставили поколение девяностых задуматься об альтер-

нативных путях развития западной цивилизации, каждой нации и каждого человека в отдельности, о необходимости сохранения неповторимого кода национальной культуры.

Бросающие вызов обществу потребления, бесконечной смене симулякров, лишенные веры и иллюзий, «иксеры» не желают становиться новыми «яппи», они не хотят делать карьеру, рваться на вершину успеха или устраивать личную жизнь. Если воспользоваться теорией пассионарности Л. Н. Гумилева («Этногенез и биосфера земли»), то американский этногенез вошел в акматическую стадию («Мы устали от великих!», «Будь самим собой!»), что соответствует фазе надлома. Отрицание поколения Икс направлено против вещного мира, приоритет которого не подлежит сомнению даже для повзрослевших «хиппи». Трое молодых людей (Энди, ведущий повествование, Дег и Клер) сбегают ото всех в пустыню, потому что

> «куда не плюнь – везде одни и те же торговые центры с одинаковыми магазинами» [2, с.123].

Дег, Энди и Клер – персонажи, обладающие сознанием бунтующего человека, они всё подвергают сомнению. В принципе эта идея не нова, она восходит к Эразму Роттердамскому. Дег так объясняет свое желание сокрушить устойчивый порядок:

> «То ли я хочу… нет я-то не хочу, но мне хочется…проучить какую-нибудь старую клячу за то, что разбазарила мой мир, то ли я просто психую из-за того, что мир слишком разросся, мы не можем его описать, вот и остались с этими вспышками на экранах радаров, огрызками какими-то, да с обрывками мыслей на бамперах» [2, с. 123].

Д. Коупленд едко отзывается об одинаковости, которая распространяется не только на сферу потребления, но и вовлекает в процесс унификации человека, его психологию. Своему герою Коупленд предлагает выход: возвращение к простым радостям жизни – цапля, которая кружит над полем, общение с детьми. Вечные ценности – то, что можно действительно

увидеть («чернота обугленных полей», «белая цапля», «умопомрачительные виражи» птицы), то, что можно ощутить («теплые объятья»), чувство облегчения, что мир существует, что атомная аннигиляция не наступила, – помогают человеку остаться личностью, а не крошечной, обезличенной частичкой глобализованного мира. Коупленд ненавязчиво призывает читателя остановиться, прекратить бесконечную гонку за вещами, перестать жить в виртуальном мире, который продуцирует бесконечные симулякры, прятаться за ничего не значащими словами.

Роман демонстрирует не только «кризис среднего возраста», он передает усиливающуюся усталость потребительского общества и культуры. Последние фразы произведения звучат довольно грустно, потому что понимание Другого, как и познание собственной идентичности, затруднено. Разноречие, по мысли автора, касается более всего не слов, а разных ментальностей, разного видения мира, разных поисков истины или нежелания ее искать.

«Поколение Икс» сигнализирует о довольно сильных тенденциях ревизии западного вектора развития мира, он заявляет о необходимости гармоничного сочетания технологического устройства общества с уникальностью каждой национальной культуры и каждой человеческой жизни. Роман повествует об открытости души, одиночестве современного человека, которому необходимо чувствовать себя не Другим по отношению к остальному человечеству, а своим для Других. Отметим, что выход термина «поколение Икс» за пределы первоначального дискурса объясняется его наложением на *этап* развития общества и культуры во времена гипертекста, каким выглядит Интернет.

О проблеме «золотого корсета», резко ограничивающего свободу национального государства и крадущего свободный выбор личности, с тревогой говорит Ф. Бегбедер (род в 1965) в романе «99 франков» (2000). Писатель заглянул в душу успешного человека, принявшего, в отличие от героев канад-

ского писателя, правила современной игры, и увидел в ней тотальное разрушение, произведенное сегодняшней нормой жизни, которая не является имманентным свойством человеческой натуры, но агрессивно привнесена извне. Главный герой романа Октав, занимающий высокий пост в рекламной фирме «Мегрелет», говорит о себе, что он

> «угодил в самое сердце страшного механизма, перемалывающего все на своем пути» [1, с.11].

Тема разрушительного воздействия общества потребления во французской литературе не нова, она, к примеру, звучала в романе Э. Триоле «Нейлоновый век». Но Октав, ведущий повествование, еще более беспощаден, чем писательница середины XX века. У Бегбедера читаем:

> «Человек – такой же товар, как и всё остальное, и у каждого из нас свой срок годности» [1, с.5].

Пройдя все иерархические ступени, от стажера до вице-президента в американской рекламной компании, работающей в Париже, Октав знает разрушительную цену успеха: потогонная система вытягивает из людей силы и выбрасывает отработанный материал.

> «Сослуживцы вокруг меня мрут, как мухи: остановка сердца в бассейне от переохлаждения, передозировка кокаина под видом инфаркта миокарда, взрыв личного самолета, крутой автомобиль, не вписавшийся в крутой вираж» [1, с. 5]

Октав лечится вначале от алкогольной, а затем от кокаиновой зависимости, теряет любимую и неродившегося ребенка, попадает в тюрьму за убийство, свидетелем и нечаянным участником которого он был, умирает в тюрьме от открытой формы туберкулеза. На первый взгляд, роман Бегбедера – эпатажная выходка разочаровавшегося героя, не удержавшегося на вершине успеха, но в действительности – это трезвая и даже безжалостная его оценка, срывание стыдливых покровов пристойности с общества потребления.

«Вы – продукт нашей эпохи. Или нет. Это слишком легко – все валить на эпоху. Вы – просто ПРОДУКТ. Поскольку глобализация больше не учитывает отдельных людей, вам пришлось стать продуктом, чтобы общество интересовалось вами. Капитализм превращает людей в йогурты – скоропортящиеся (то есть смертные), зомбированные Зрелищем, – иными словами, нацеленные на уничтожение себе подобных. Для того чтобы уволить вас, достаточно лишь вызвать ваше имя на экране, сбросить его «в корзину» в контекстном меню; компьютер спросит: «Хотите ли вы стереть запись без возможности восстановления?» Нажмите клавишу ОК, и дело сделано. Вот так-то: щелкнуть океем – и ваших нет!» [1, с. 102].

Виртуальная действительность, в которой люди зомбированы рекламой, живут от одной рекламной паузы до другой, где никто не сопротивляется, потому что избраны самые изощренные способы управления психикой, демонстрирует полную победу «прекрасного нового мира», о котором едко писал О. Хаксли. В романе современного французского прозаика читаем:

«Прежние диктатуры боялись свободы слова, искореняли инакомыслие, сажали писателей, сжигали вольнолюбивые книги. Достославные времена мерзких аутодафе позволяли отделить агнцев от козлищ, добрых от злых. Рекламный же тоталитаризм – вещь куда более тонкая, легко умыть руки» [1, с.7].

И далее:

«Чтобы обратить человечество в рабство, реклама избрала путь въедливого, умелого внушения. Это первая в истории система господства человека над человеком, против которой бессильна даже свобода. Более того, она – эта система – сделала из свободы свое оружие, и это самая гениальная ее находка. Любая критика только ей льстит, любой памфлет только усиливает иллюзию ее слащавой терпимости. Она подчиняет вас в высшей степени элегантно. Все дозволено, никто тебя не трогает, пока ты миришься с этим бардаком. Система достигла своей цели: даже непослушание стало формой послушания» [1, с.7].

В компьютеризованном мире вроде бы удобно жить, все бытовые проблемы разрешаются механизмами, призванными

облегчить существование человека. Добывание пищи, устройство жилища – организуется единой торговой сетью, но за расслабляющим комфортом скрывается безграничное одиночество, ненужность не только Другому, а и самому себе. Всевидящее око видеокамер, установленных повсюду, разрушает священную заповедь западной демократии, – приватность, частную жизнь, делая сугубо интимные привычки индивидуума не просто объектом научного интереса, а одним из видов товара.

> «Скоро вам и вовсе не понадобится ходить в магазин: маркетологи и так разведают ваши вкусы, подключив ваш холодильник к Интернету; и доставят все нужное прямо на дом; таким образом, жизнь ваша будет целиком расписана и включена в процесс глобальной индустриализации. Восхитительно, не правда ли? А ну-ка мальчик, поздоровайся с камерой, это твоя единственная подружка!» [1, с.37].

Бегбедер пишет о том, что всеобщая глобализация приводит к резкому усилению кастовости в обществе: если стажер – это мальчик на побегушках, которого выгоняют под горячую руку, то копирайтер, придумавший два-три удачных слогана, которые принесли компании баснословные прибыли, становится успешным человеком, но платит за это утратой своей индивидуальности. Он должен следовать четким правилам социальной группы: если заказывать в ресторане еду, то только суши; если покупать одежду, то только в сверхмодном бутике APC; если выбирать машину, то только БМВ последней модели. Отход от жестких регламентаций социальной «стаи» означает одно – человек превратился почти в клошара. Это своеобразный современный вариант давно известного британского джингоизма.

Подобную точку зрения автора, а герой во многом является его alter-ego, можно было бы считать злым преувеличением брюзжащего мизантропа, если бы она ярко не высвечивала процесс происходящий подмены «рыночной экономики» «рыночным обществом». Тем более, что представление об европейской цивилизации как об огромном супермаркете акцентируется в романе такой эффектной деталью:

> «Решетка на единственном оконце моей камеры напоминает товарный штрихкод» [1, с. 113].

Для человека, рвущегося на вершину успеха, выхода нет и не предвидится, потому что «гедонизм – это не гуманизм, это cash-flow» [1, с. 5].

Роман представляет собой перекличку героя, создающего роман о собственной жизни в тюрьме, и автора, добавляющего от третьего лица детали к дискурсу персонажа. Организация повествования как подведение итогов жизни в застенке – прием достаточно традиционный, к примеру, в романе А. Мердок «Черный принц» главный герой писатель Брэдли восстанавливает события прошлого в тюремной камере. Послание из тюрьмы или написание произведения в тюрьме – тоже в литературе вещь не новая, О. Уайльд пишет «Балладу Реддингской тюрьмы».

Мифологических, библейских, литературных параллелей в романе Бегбедера множество, что не расходится с установкой современной культуры на полилог, аллюзивность, создание интертекста. Но столь же очевидна и социальная ангажированность автора, глубоко озабоченного тем, что экономическая глобализация уничтожает личностное и национальное, когда человек теряет себя и свои корни. Нивелирование национальных признаков архитектурного пространства, одинаковость жилища, одежды и пищи, унификация даже желаний, которые агрессивно навязываются человеку, производит устрашающее впечатление. И то, что люди пока еще имеют имена, ничего не значит, их с легкостью можно заменить на номера, как об этом писал Е. Замятин.

> «Почему американкашки контролируют весь мир? – задает вопрос главный герой. – Да потому, что они контролируют коммуникации» [1, с. 21].

Цитата из романа практически является калькой одного из непреложных экономических условий создания «глобальной деревни». Если же вернуться к художественному тексту, то можно сказать, что роман Бегбедера демифологизирует глоба-

лизм изнутри, это сатира на общество, члены которого как раз и составляют «золотой миллиард». Обретение новой самоидентичности, которую герою буквально навязывает стандарт спешности, вызывает у него отторжение, потому что прервана преемственность поколений, отсутствует память об общей судьбе нации, так как транснациональная компания стремится нивелировать национальное. Добровольное психологическое закабаление современных людей удручает героя:

> «Ну зачем вы сделали из меня Повелителя Мира? Мне давно хочется разгадать эту тайну: как, каким образом, на гребне нашей циничной эпохи рекламу провозгласили верховной властительницей» [1, с.7].

Автор демонстрирует оборотную сторону вновь создаваемых мифов, например, наивной и расхожей современной сказки о том, что самые знаменитые и богатые люди планеты, такие, как Элвис Пресли, Дж. Кеннеди, Маккартни, не умерли, а тихо исчезли из суетного, сумасшедшего мира и обитают на островах Кайманова архипелага, став с помощью генетики и биотехнологий практически бессмертными и наслаждаясь жизнью в настоящем раю на земле.

Окончание романа пронзительно печально, герой, понимающий, что умирает, мечтает о недоступном – о семье, любви, детях, но он предал Софи, испугавшись ее беременности, он сам избегал прочных привязанностей и ответственности.

> «Я хочу путешествовать холостяком по городам и весям. Я не способен воспитать ребенка – я сам ребенок» [1, с.28].

Герой психологически так и не повзрослел, для него «век джаза» все еще продолжается, но тоска проникла в его душу, опустошив ее до дна. Не раз и не два Октав заявляет, что он – «продукт времени», и все же он готов открыть тайный механизм действия системы, чтобы предупредить людей, чтобы «изменить наш мир» (с.11), потому что, изображая пресыщенного циника, в действительности он не таков.

Автор утверждает, что в процессе глобализации создается новый вид homo sapiens – «человек приобретающий».

> «Знаете, какой его девиз? «Я трачу, следовательно, я существую. Но для того чтобы зародить в человеке жажду приобретать, нужно возбудить в его душе зависть, горечь, алчность» [1, с. 5].

Бегбедер, вслед за Лиотаром и Бодрийаром, считает, что современная «глобальная деревня» построена на симулякре, иллюзии, ничто.

> «Спросите у любого серфера, и он подтвердит: если хочешь удержаться на поверхности воды, необходимо, чтобы под ногами был провал. Серфинговать означает скользить по отвесной стенке гигантской пропасти (фанаты Интернета знают это так же хорошо, как и чемпионы Лакано)» [1, с.6].

Вот это скольжение по пустоте – есть сущность современного мира, недаром одним из эпиграфов к роману Бегбедер выбрал высказывание Чарльза Буковски:

> «Капитализм пережил коммунизм. Теперь ему осталось пожрать самого себя» [1, с.4].

Очередная революция повторяет трагедии предшествующих – она уничтожает своих инициаторов, но на этот раз в роли таковых выступает все человечество. В одной судьбе писатель увидел не просто возможную, а уже предопределенную участь людей, которую многие все еще не поняли. И в этом смысле произведение Бегбедера выступает к качестве романа-предупреждения, современной модификации романа-антиутопии, а если быть более точным в определении модификации многочисленных вариаций антиутопии, то дистопии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бегбедер Ф.* 99 франков // Иностранная литература. 2002. №2. С. 3 – 114.

2. *Коупленд Д.* Поколение X // Иностранная литература. 1998. №3. С. 121 – 219.

3. *Уткин А.И.* Глобализация: процесс и осмысление. М., 2001.

4. *Buchnan P.* The Great Betrayal: How American Sovereignty and Social Justice Are Being Sacrificed to the Global Economy. N.Y., 1998.

5. *Dirlik A.* The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism // Contemporary Postcolonial Theory / Ed. by P. Mongia. L.; N.Y.; Sidney, 1996.

6. *Economist.* 1997. Sept. 20.

7. *Friedman Th.* Understanding Globalization. The Lexus and the Olive Tree. N.Y., 2000.

8. *Global* Transformation. Politics, Economics and Culture // Held D. e..a. Cambridge., 2000.

9. *Huntington S.* The Clash of Civilization? // Foreign Affairs. Sum. 1993.

10. *National* Geographic. Aug. 1999.

11. *Sir James Goldsmith*. The Trap. N.Y., 1994.

Е.П. Пустовойтова

СТОРОННИКИ И КРИТИКИ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: РОССИЯ И США

Без сомнения, глобализация – «модное словечко» последнего десятилетия. Ученые, журналисты, политики, бизнесмены употребляют это слово, давая определение глубоким изменениям, происходящим в мире, рассуждая о формировании нового экономического, политического и культурного порядка.

В американской литературе можно встретить диаметрально противоположные на первый взгляд оценки новым тенденциям: от процессов глобализации как усиление господства мировой капиталистической системы, разрушение национальных традиций путем создания гомогенной глобальной культуры до, напротив, эти процессы оцениваются как мощный стимул для социального, экономического, политического развития общества в условиях информационной открытости и интенсификации соревновательных процессов в мире.

Для того чтобы окончательно не запутаться в определениях, понятиях и оценках обозначенных выше процессов, мы

выделим две группы исследователей, занимающихся этой проблематикой. К первой группе отнесем негативно оценивающих влияние современных тенденций на общественное устройство и его дальнейшее развитие. При всей условности назовем их «противниками» или «критиками» современной мировой трансформации. Вторая группа представлена «сторонниками», которые выделяют больше положительных, прогрессивных факторов процессов глобализации.

Наша задача проанализировать актуальные тенденции через призму диаметрально противоположных оценок: смешав две краски черную и белую (которые, кстати сказать, в природе в чистом виде вообще не существуют), получить максимально, насколько это вообще возможно, объективную оценку происходящей мировой трансформации, приводя аргументацию обеих сторон. Учитывая невозможность объять необъятное (а что может быть необъятнее понятия глобальности), в этой работе мы попытаемся ответить на следующие вопросы: 1) как и в чем проявляется качественность или уникальность актуальных тенденций, через определение «глобализационного» характера этих процессов? 2) в чем видятся основные векторы дальнейшего формирования мировой политической, экономической и социальной структуры системы управления? 3) какие противоречия связывают теории и что может служить дальнейшим материалом для изучения?

1. Исторические аналогии: интенсивность, универсальность, нация-государство.

Двойственность определения понятия «глобализация» отражает настоящий процесс пересмотра, переоценки современных общественных теорий и подходов. Несомненно, что за последние десятилетия в мире произошли важные технологические изменения, которые послужили плацдармом для начала каких-то новых процессов «великой трансформации» («great transformation»). Но чем качественно отличаются эти явления от аналогичных процессов, наблюдаемых в начале века?

Существуют разные мнения в оценке, во-первых, интенсивности процессов глобализации, во-вторых, в универсализа-

ции или масштабности распространения оказываемых последствий и, в-третьих, проявления глобализации как разрушение национальных границ. Проследим эти три измерения глобализации на экономической сфере.

Критики склонны крайне скептически рассматривать какие-либо из трех перечисленных измерений процессов глобализации. Они доказывают, что степень экономической интеграции стран нельзя назвать беспрецедентной. По некоторым показателям рынки капитала были более интегрированы в начале XX века по сравнению с концом столетия. Внешний вывоз капитала из Великобритании составлял 5 % ВНП до 1914 г. по сравнению с 2 – 3 % показателями развитых стран сегодня. Об этом пишет Пол Кругман, который полагает, что мировая экономика в конце 90-х еще менее интегрирована по ряду показателей по сравнению с периодом до Первой мировой войны, когда были десятилетия господства концепции невмешательства государства в экономику, когда роль рынка была сильнее государственного регулирования [1, с.16]. Объемы международной торговли, инвестиций и финансовых потоков в конце XIX в. значительно превышают аналогичные показатели конца 90-х прошлого столетия.

На очевидные показатели ускорения процессов мировой экономической интеграции в XX в. и расширения ее масштабов критики отвечают, что проявление глобализации в экономической сфере регионально и распространяется только на отдельные регионы, так называемую триаду (США, Западную Европу, Японию), а также на возникающие рынки Восточной Азии. И даже тот факт, что финансовый кризис 1998 г. по своим последствиям никак не мог бы быть отнесен к разряду региональных и по масштабу распространения был воистину глобальным, не является аргументом в пользу качественности по новизне исследуемых процессов. Критики приводят в пример «черный вторник» на Уолл-Стрит 1929 г. как показатель того, что глобализм не нов сам по себе. Тесные экономические связи между основными финансовыми центрами всегда становились причиной распространения кризисов.

И наконец, несмотря на то, что индустриальные экономики стали гораздо более открытыми, показатели объемов импорта и инвестиций все еще несравнимы с мощью национальных экономик. К примеру, экономика США как наиболее «глобализированная» еще очень национально регулируемая (domestic-driven economy). В 1970 г. торговля, включая экспорт и импорт, составляла 11% от ВНП, а к середине 90-х годов этот показатель увеличился только до 24%. Более того, экономическая интеграция стран триады в торговле товарами, услугами и в целом интеграция финансовых рынков гораздо более ограничена, чем многие полагают. Национальные границы, как продолжают утверждать критики процессов глобализации, остаются непреодолимым барьером на пути международных экономических потоков.

1.2. Быстрее, дешевле, глубже…

Действительно, что в современных процессах глобализации такого уникального и беспрецедентного, попробуем разобраться вместе с аргументацией исследований, выполненных в русле концепций[1], не ставящих под сомнение значимость глобальной реструктуризации мира. Как отмечает Дэвид Хелд и многие другие, сам масштаб, комплексность и скорость происходящих изменений отличают современный период глобализации от предшествующих [2, с. 21 – 22].

Прежде чем перейти к анализу позиции сторонников этих концепций по трем аспектам глобализации, изложенных нами выше, мы должны отметить, что их подход основан на максимально резком разграничении современного и его предшествующего процесса трансформации.

Ряд исследователей выделяют два этапа глобализации и проводят сравнительный анализ так называемого первого и

[1] Среди них авторы, работающие в русле постиндустриальной доктрины, концепции информационного общества, теории постмодернизма. В зависимости от того, в рамках какой теории работает автор, глобальные перемены определяются по-разному – «постиндустриальная стадия», «информационная революция», «эпоха постмодернизма» и пр.

второго периода глобальной трансформации – «the two eras of globalization» [3, с. xvii]. Они выделяют период с середины XIX в. до начала Первой мировой войны как первый раунд глобализации, затем, согласно некоторым исследованиям, в течение семидесяти пяти лет с началом войны, революции в России и Великой депрессии, продолжался период вне или без – «a time out between one era of globalization and another» [3, с. xxi] глобализации, и, наконец, начиная с 1989 г., с падением Берлинской стены, а значит, с окончанием холодной войны начался второй раунд глобализации, что и представляет современную эпоху.

Несмотря на то, что многие исследователи согласны с методологией определения актуального процесса через его противопоставление предшествующему, приведенную выше периодизацию считают крайне произвольной и односторонней. Если относить начало глобализации к середине XIX в. и определять как увеличение объемов торговли и ускорение движения капиталов между политически независимыми государствами, то говорить о ее «отсутствии» во время двух мировых войн и периодом холодной войны, неправомерно. Ибо, утверждая это, мы невольно употребляем термин «глобализация» только в каком-то одном аспекте, забывая о том, что, к примеру, «военный глобализм[2], так же как и социальный, как раз поднялись до небывалых высот во время двух мировых войн» [4, с.4]. Поэтому произвольное употребление термина «глобализация», или «процесс глобализации», без четкого разграничения понятий (экономическая, военная, социальная, глобальные проблемы окружающей среды и пр.) часто приводит к их смешению или упрощению смысла.

---

[2] Термин «глобализм» определяется авторами как: 1) феномен с древними корнями, относящимися к структуре мира действующих систем связи и взаимозависимости на межконтинентальных расстояниях и 2) определяя через него глобализацию как процесс ускоряющегося глобализма.

Суммируя вышесказанное, мы определим современные процессы трансформации как сложные процессы, проявляющиеся в расширении взаимосвязей и взаимозависимости как между людьми, так и государствами, что выражается в формировании планетарно информационного пространства, мирового рынка капиталов, товаров и рабочей силы, а также в интенсификации движения потоков людей, информации, идей; в увеличении числа акторов на международной арене (или скорее повышение роли ранее менее значимых); и в интернационализации целого ряда проблем.

Определение «глобальности» этим «новым» процессам глобализации придают следующие два фактора. Мы характеризуем их через понятие глобальной сети, или, точнее, «включенности в глобальную систему» – global network [5, с.73]. Где бы и как ни происходили процессы определенной трансформации, их глобальность будет определяться, во-первых, наличием особой связи между звеньями системы и, во-вторых, взаимообусловливающим влиянием каждого звена друг на друга.

2. Структура системы управления.

Несмотря на то, что мы частично затронули проблему управления и привели структуру взаимоотношений между «старыми» субъектами системы миропорядка – государствами – и «новыми» – субъектами рынка и индивидами, – эта схема представляется не полной. Далее мы рассмотрим более подробно изменения в структуре и системе управления как внутри государства, так и на международном уровне. Наша задача будет состоять в ответе на вопросы: кто является основными действующими лицами или кем будут контролироваться (если такое вообще возможно) процессы глобализации и какие существуют модели управления согласно двум противоположным подходам?

2.1. Акторы и их взаимодействие.

Формальная политическая власть не обязательно осуществляется исключительно правительством страны или международными структурами, которым властные полномочия были делегированы государствами. Частные фирмы, различные

объединения, неправительственные организации (НПО) и другие наднациональные образования также непосредственно участвуют в процессах управления, часто без какой-либо санкционированности со стороны государственных структур. Здесь возникают два вопроса: во-первых, какова весомость этих акторов по сравнению с традиционными формальными институтами власти – государственными структурами и, во-вторых, само пространство и механизмы их взаимодействия, что зачастую позволяет говорить о кардинальных изменениях в системе управления в связи с активизацией деятельности этих акторов.

Если не вдаваться в историю появления акторов третьего сектора или в целом акторов надгосударственного уровня, говоря об их становлении и постепенном отделении от государственных структур, можно просто констатировать их все большую самостоятельную политическую, экономическую и социальную роль.

К примеру, Ф. Фукуяма в одной из своих последних статей пишет об изменении самого представления под понятием «политическое действие» и подчеркивает в этом все возрастающую роль третьего сектора. «Не так давно, транснациональная компания Royal Dutch Shell была вынуждена отказаться от важных для нее проектов в Нигерии и на Северном море под давлением организаций по защите окружающей среды, таких как Гринпис» [6, с.5]. Это, по утверждению Фукуямы, доказывает, что неправительственные организации обладают достаточной мощью для оказания влияния на крупные бизнес-компании и правительства. «В мире существует огромное количество разнообразных организаций третьего сектора, и они обладают теми же возможностями использовать дешевые информационные технологии, что и глобальные корпорации» [6, с.7]. Надо отметить, что в плане возможностей продвижения своей политики с помощью новых доступных технологий акторы наднационального сектора не одиноки, нельзя забывать, что государственные структуры обладают потенциалом использования рычагов управления или давления при помощи

новых СМК, начиная от правительственного сайта в Интернете до общественных государственных каналов.

Но стоит отметить, что, говоря об относительном равенстве в использовании средств массовой коммуникации при продвижении тех или иных решений, мы все же не можем говорить об одинаковом воздействии внеструктурных факторов на государственные и надгосударственные акторы, так как их иммунитет (те средства защиты, которыми они располагают) или способность справляться с вызовами, слишком неравнозначны. Сравните: мощь всего государственного аппарата при аргументировании своей позиции и возможности неправительственной организации, чьим единственным оружием была и остается – мобилизация общественного мнения, и только с процессами глобализации СМК сфера охвата информационного пространства расширяется.

Весомая роль этих новых акторов – частного и третьего сектора в системе управления по отношению к традиционному политическому институту – государство – может быть определена через очерчивание самого пространства управления. «Государство остается самым значимым актором на мировой политической арене, но не единственно важным» [7, с.207]. Меняется сама география управления, а с ней возникают и новые задачи, которые по разным причинам лежат вне поля компетентности государственного уровня управления. Но это не означает, что государство постепенно отомрет или национальные границы будут размыты, нет, это ставит проблему совсем другого рода. Это означает, что система управления становится все более комплексной, в плане многоуровневой, и создает свою правовую архитектуру. Лоуренс Лессиг доказывает, что мир Интернета (виртуальный мир) наглядный пример того, что управление переходит от законов, созданных государствами, к нормативной инфраструктуре, формируемой компаниями, т.е. «эффективное управление переходит от законодателей к программистам» [7, с.207].

Итак, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что государства не являются единственными субъектами на мировой

политической сцене. Частные фирмы, НПО, сообщества государств (ЕС, НАФТА) все более влияют на принятие решений «государственной» важности, хотя их правовое поле лежит вне законодательной юрисдикции государств. Другими словами, процессы глобализации здесь проявляются в формировании поля глобального управления, где помимо государств свои интересы проводят «негосударственные акторы» – частный и третий сектор, часто не совпадающие или вступающие в противоречие с государственным уровнем управления или даже между собой. Поэтому тенденция к созданию мировой или глобальной правовой инфраструктуры (например, путем приведения национальных законодательств к единым нормам) есть не что иное, как естественная попытка этих новых акторов законодательно оформить то поле деятельности, где они могли бы (не скованные государственным регулированием каждой отдельной страны) воплощать свои внешнеэкономические и внешнеполитические интересы.

Теперь перейдем к тому, как складываются взаимоотношения между этими тремя уровнями управления: частным, государственным и неправительственным. «Отношения между тремя секторами управления не должны рассматриваться отдельно друг от друга или как игра с нулевой суммой. Национально принятые решения в ответ на вызовы глобализма дополняются действиями частных и неправительственных акторов, одни им противоречат, а другие дополняют действия государственного сектора» [4, с.23].

«Это партнерство становится все более явным» [8, с.44 – 57]. Транснациональные корпорации и НПО, а зачастую и межправительственные организации вместе сотрудничают в сфере услуг. В 1998 г. Кофи Аннан учредил компактную группу по усовершенствованию норм трудовых отношений, в которую наряду с ООН вошли различные корпорации. Международная коммерческая палата также предложила свое сотрудничество.

Примеров такому партнерству можно найти превеликое множество, но вопрос в том, насколько оно эффективно и какую

роль может сыграть в кардинальных изменениях глобальной структуры управления. Взаимоотношения государственных институтов, частного сектора и некоммерческих организаций представляют особый интерес как связка взаимодействия: государства, рынка и гражданского общества соответственно.

Конечно, тезис о том, что НПО являются институтом формирующегося глобального гражданского общества, неоднозначен. Вспомним, что некоммерческими организациями являются не только те, которые успешно мобилизуют общественное мнение по вопросам прав женщин, беженцев или загрязнения окружающей среды, но и исламские фундаменталистские организации тоже относят к третьему сектору. Все же большинство НПО с их немотивированными коммерческими интересами наиболее соответствуют образу активных участников мирового гражданского общества.

«Опыт последнего десятилетия показывает, что НПО действуют гораздо более эффективно, препятствуя принятию тех или иных решений, чем способствуют их решению» [9, с.288]. Авторы объясняют это тем, что акторы гражданского общества располагают относительно ограниченными ресурсами по сравнению с государственными и коммерческими организациями. Это позволяет исключать первых из процессов принятия решений, особенно это часто происходит в странах с централизированной системой управления.

Подводя итог теме акторов и их взаимодействия, необходимо в заключение добавить еще одно. На данном этапе развития наблюдается высокая поляризация межсекторных отношения, которая по причине стереотипов, борьбы за власть, нежелания действовать сообща, даже когда сотрудничество может стать взаимовыгодным, приводит акторов к стремлению добиваться своих целей помимо, а часто за счет других.

Эта поляризация проявляется в традиционно подконтрольных этим акторам сферах, где наиболее высокие ставки. Как, например, правительства и межправительственные организации пытаются исключить транснациональные корпорации и объединения акторов гражданского общества из внешнеполи-

тической сферы принятия решений, даже когда те обладают полезной информацией или на них напрямую отразятся последствия от принятых решений. Действительно, традиционная теория международных отношений базируется исключительно на государствах как основных законных субъектах на мировой арене [10, с. 34]. С другой стороны, часто ТНК и финансовые рынки принимают решения международного значения без правительственного и какого-либо гражданского участия. Некоторые специалисты даже рассматривают ситуацию все возрастающего влияния международных рынков, где «корпорации правят миром» [11, с. 3], в то время как влияние национальных правительств и гражданского общества заметно ослабло по ряду важных международных вопросов. Хотя существует и третья точка зрения, доказывающая, что НПО или их совместные действия способны блокировать многие международные решения, что зачастую, согласно некоторым исследователям, приводит к тупиковому состоянию и делает далее невозможным прогресс по рассматриваемому вопросу.

Такая сознательно несогласованная политика и как следствие разнонаправленные действия делают очень дорогостоящим достижения консенсуса и выработку решений. Остается выразить надежду, что организации гражданского общества и их различные объединения будут обладать значительно большими властными ресурсами, чтобы препятствовать прохождению решений, не учитывающих интересы членов гражданского общества.

2.2. Страхи критиков и надежды сторонников.

Относительно «количества и качества» акторов особых расхождений между *сторонниками* и *критиками* в подходах нет, но исследователи расходятся в ответе на вопрос, кто выигрывает от настоящего положения дел и какие основные сценарии на будущее в изменениях системы управления.

Глобалисты считают, что выиграют все, так как в конечном счете процессы глобализации приведут к всеобщему благосостоянию, формированию единого пространства свободного рынка, и чем быстрее страна интегрируется или подклю-

чится – «plug in», тем лучше. Некоторые исследователи даже полагают, что у отстающих государств нет выбора, либо они немедленно интегрируются, либо встает вопрос об их дальнейшем существовании [6, с.8]. Да, признают сторонники, пусть эта структура америко-центрична, но это лишь означает победу капиталистического способа развития.

Контроль на этом глобальном пространстве будет обеспечиваться демократическими механизмами. Существуют различные сценарии такого глобального федерализма. Многие исследователи проводят то, что Хедли Бул называет «domestic analogy», проводя аналогию с внутренней структурой управления государством [12, с.46]. Часто, рассуждая о глобальном управлении, произносят термин «глобальное правительство». К примеру, М. Сандел пишет, что «как национализация американской экономики в девятнадцатом веке привела к формированию единого американского правительства, так и глобализация мировой экономики должна привести к образованию мирового правительства» [13, с.338]. Или, например, идея глобального управления с помощью усиления институтов международных организаций, таких как ООН. Предполагалось начать с учреждения двухпалатной Генеральной ассамблеи, которая распределяла бы налоговые сборы от глобальных операций, и создания глобального центрального банка [14, с.2].

Демократизация рассматривается авторами как объективный неизбежный процесс, идущий параллельно экономической интеграции. Аргументируя такой тезис, сторонники соглашаются, что в начале XX в. страны подошли к новой складывающейся системе с разным уровнем развития. Просто перенять демократические институты недостаточно. И если раньше можно было продолжать относительно «развиваться» в рамках своих национальных границ, не «беспокоясь» об экономических, социальных преобразованиях в соседних странах, то сейчас «закрыться» от этого просто не удастся. Поэтому все большее количество стран будет подключаться к глобальной экономической системе.

Томас Фридман сравнивает этот интеграционный процесс с попыткой преобразовать страну в открытое акционерное общество, где акционерами являются не только граждане твоей страны, а жители всего мира. «Они не голосуют каждые четыре года. Они голосуют ежечасно, ежедневно через свои пенсионные фонды, через своих брокеров или, более того, с помощью своих персональных компьютеров через Интернет» [3, с. 167]. Следовательно, надо пытаться успешно функционировать в этой системе, т.е. соблюдать ее правила, которые и есть демократические механизмы взаимодействия.

Многие исследователи доказывают, что экономическая интеграция влечет за собой «обязательные» демократические изменения. Хотя это не означает, что ТНК ценят демократические ценности и ратуют за их внедрение. Нет, чтобы успешно действовать – расширять рынки, увеличивать прибыль, им нужны: стабильность, предсказуемость, прозрачность, возможность перемещать и защищать свою собственность. Все эти факторы взаимосвязаны и «нельзя обновлять программное обеспечение в стране с авторитарным политическим режимом, где управляющая верхушка не подотчетна, где нет свободного распространения информации, что не позволяет судебным органам бороться с коррупцией, и где нет свободных выборов для смены политического режима» [3, с. 189].

Критики, напротив, считают, что опасность состоит в нерегулируемости, а точнее, в неподконтрольности обществу происходящих процессов и деятельности самих анонимных акторов, двигающих глобализацию. По их мнению, глобализация выстраивает иерархическую международную экономическую и политическую систему, состоящую из богатых наций с развитой экономикой, и эксплуатируемых, бедной периферии, с менее развитой экономикой. Она ведет к концентрации власти как внутри, так и вне национальных границ в руках корпораций, чему способствует политика Мирового банка, Мирового валютного фонда и других американо-ориентированных международных организаций. Порядок формирования этой системы можно представить следующим образом. Во-первых,

богатые нации проводили такую коллективную политику, которая привела к бедности стран третьего мира и к господству западного капитала. Во-вторых, развитые страны заинтересованы в сохранении status quo, так как они выигрывают от положения неравенства наций. И наконец, вышеперечисленные организации и такие структуры, как ТНК, продвигают исключительно их интересы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что движения антиглобалистов (которые являются физическим воплощение критиков) не направлены против самого процесса глобализации как все возрастающей скорости передвижения и распространения информации, нет, они выступают против потери контроля со стороны общества над процессом принятия решений.

По сути, сторонники и критики экономической глобализации отличаются своими прогнозами относительно распределения благосостояния и власти. Хотя надо добавить, что и у первых и у вторых есть свои недостатки в анализе и подходах к оценкам последствий процессов глобализации.

3. Неточность в подходе. Проблемы и противоречия.

Во-первых, при оценке воздействия процессов глобализации происходит сведение критики к «страноведческой» глобализации, понимая под этим критику, направленную на деление на высокоразвитые и развивающиеся страны или на страны, которые в большей или в меньшей степени интегрированы в эти процессы. Это приводит к делению по принципу Север и Юг, Запад и Восток, схеме, мало отличающейся от периода холодной войны, когда, анализируя происходящие процессы, можно было довольно просто предсказать ожидаемые последствия, учитывая, к какому лагерю капиталистическому или социалистическому принадлежит тот или иной актор. Но сейчас оценивать позитивные и негативные стороны процессов глобализации нельзя, только сводя их действия к государственным границам.

Страны не могут быть либо полностью проигравшими или окончательно выигравшими. В каждой стране существуют силы, будь то формальные органы власти (Западная Европа,

США, Китай) или в большей степени неформальные структуры (Россия), которые действуют как внутри, так и за пределами своих национальных границ как акторы глобальных процессов или как акторы постиндустриальной фазы развития. Они, обладающие основным ресурсом власти – информационно-коммуникативным, сотрудничают друг с другом, меньше всего беспокоясь о национальной принадлежности того или иного актора. Таким образом, говоря о выигравших и проигравших или догоняющих и опережающих, надо не столько относить это к конкретным странам, сколько к негеографическим понятиям.

Отсюда проблема интеграции как возможность и перспектива развития догоняющих стран должна рассматриваться с разных сторон. Не только как проблема противоположно направленных процессов развития индустриального и постиндустриального мира как двух игроков на мировой политической, экономико-технологической и социальной арене, но и как проблема интеграции отдельных элементов общества в «глобальные сетевые структуры»[3].

Другими словами, эта проблема заключается в существовании двух разных миров индустриального (где-то даже еще традиционного – «сознание» в России) и постиндустриального и, как следствие – неравномерность и неоднородность развития всей системы.

Во-вторых, проблема трансформации функций самого государства как политического института. С одной стороны, происходит передача все больших полномочий по вопросам не только экономического, но и политического характера (e.g. правового регулирования информационного пространства в рамках ЕС или прав человека в Совете Европы) на надгосударственный уровень. С другой стороны, в связи с тем, что «глобализация ведет к резкому усложнению внешних, по отношению к обществу как системе, условий существования»

[3] М. Кастеллс выдвинул концепцию глобального сетевого общества в книге The Rise of Network Society. Malden, 1996.

[15, с.14], роль государства в чем-то даже усиливается. Например, в сторону большей социализации его функций как «гаранта социальной стабильности, призванного обеспечивать, прежде всего, необходимую помощь наиболее нуждающимся категориям населения и защищать общество от волны насилия, преступности и террора, приобретающего глобальные масштабы» [15, с. 14].

В-третьих, исследователи уделяют особое внимание информационным технологиям как создающим реальную возможность для резкого ускорения глобализации. Но при оценке роли информационных сетей в разных работах просматривается односторонний подход. Такие авторы, как Ф. Фукуяма, Т. Фридман, Д. Хелд, Л. Родрик и Д. Фаррел, выделяют исключительно позитивный момент информационных технологий – объединение человечества в единое мировое сообщество общих интересов и целей. В то время как другие исследователи (С. Андерсон, Дж. Каванаш, Д. Кортен и др.), напротив, полагают, что информационные технологии – это прежде всего средства манипуляции, орудие разделения мира и средство доминирования ТНК. Но последствия информационной революции не могут считаться только сугубо положительным или отрицательным явлением. «С электронными сетями, играющими все более заметную роль в нашей повседневной жизни, наше общество в целом становится все более зависимым от этой сети, ее функционирования и целостности» [16, с.146]. Зависимость сама по себе не может считаться критерием позитивного или негативного влияния, она свидетельствует только о степени воздействия или проникновения.

Совершенствование коммуникационных технологий, без сомнения, оказывает значительное влияние на структуру и формы функционирования любой системы в таких аспектах, как управление, направление информационных потоков и их способов передачи. И если считается, что движение и доступ к информации ограничивать относительно легко, то вот производство и использование почти не поддаются контролю. Поэтому говорить об отрицательном или положительном эф-

фекте самих технологий не имеет смысла в том плане, пока не будет ответа на вопрос: в чьих руках находятся эти информационные ресурсы и в каких целях они используются?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Krugman P.* The Return of Depression Economics. Norton, 1999.

2. *Held D. and others.* Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Stanford: University Press, 1999.

3. *Friedman T.* The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. Anchor Books, A Division of Random House, INC. New York, 2000.

4. *Robert O.* Keohane and Joseph S. Nye Jr. Governance in a Globalizing World. Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2000.

5. *Graham A.* Governance in a Globalizing World / Ed. Joseph S. Nye Jr. and John D. Donahue // The Impact of Globalization on National and International Security. D.C. 2000.

6. *Fukuyama F.* Will Socialism Make a Comeback? © International Monetary Fund, it is available at conference@imf.org

7. *Lessig L.* Code and Other Laws of Cyberspace. Basic Books, 1999.

8. *Reinicke W.H.* The Other World Wide Web: Global Public Policy Networks, Foreign Policy Winter 1999 – 2000.

9. *Brown D., Khagram S., Moore M., Frumkin P.* Governance in a Globalizing World / Ed. Joseph S. Nye Jr. and John D. Donahue // Globalization, NGOs, and Multisectoral Relations. D.C. 2000.

10. *Robert O.* Keohane and Joseph S. Nye Jr., Power and Interdependence: World Politics in Transition. Harper Collins, 1988.

11. *Korten D.* When Corporations Rule the World. San Francisco, Calif., and Greenwich, Conn.: Berrett-Koehler and Kumarian Press, 1995.

12. *Hedley Bull* The Anarchial Society: A Study of Order in World Politics. Columbia University Press, 1977.

13. *Sandel J.M.* Democracy's Discontents. Harvard University Press, 1996.

14. *UNDP* (United Nations Development Program) Human Development Report 1999. Oxford University Press, 1999.

15. *Иванов Н.* Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития. МЭиМО. °3, 2000.

16. *Mayer-Schönberger V., Hurley D.* 2000. Governance in a Globalizing World / Ed. Joseph S. Nye Jr. and John D. Donahue // Globalization of Communication. D.C.

III

ПОИСК РЕГИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

А.В. Дахин

СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ (на основе сравнительного анализа России, Южной Кореи, Канады)[1]

Проблема этнокультурной идентичности привлекла наше внимание в связи тем, что развитие цивилизации за последние 500 лет привело к полному или частичному исчезновению с лица культуры планеты десятков и десятков этнокультурных сообществ. В результате вырисовывается тенденция: прогресс и экономический рост приводит к сокращению этнокультурного разнообразия на планете. Аналогичную тенденцию, но в отношении природного разнообразия, в середине XX века озвучили экологи. После этого цивилизация постепенно стала приходить к пониманию того, что развитие общества не должно происходить за счет снижения разнообразия биологических видов, в противном случае общество лишится биосферы и погибнет. Поэтому логично изучить и вопрос о необходимости сохранения исконного разнообразия видов культуры, вопрос о *сохранении этнокультурного разнообразия* на планете.

---

[1] Статья представляет материалы исследования, проведенного в рамках проекта «Демократизация структур муниципального управления в контексте этнокультурного разнообразия: опыт Канады, России, Южной Кореи», поддержанного Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (грант 01 – 68435 – 000).

С позиций этого вопроса мы и подходим к проблеме этнокультурной идентичности, которая, как мы постараемся показать, достаточно тесно связана с темой разнообразия форм внутренней самоорганизации этнокультурных сообществ. Определив специфику *социокультурного* аспекта исследования структур муниципальной самоорганизации и отличие этнокультурной идентичности от идентичности национокультурной, мы обращаем внимание на то, что в основе этнокультурной идентичности лежат так или иначе оформленные династические (кровнородственные) отношения внутри этнокультурных сообществ. Положив в основу сравнительного анализа понятие «aboriginal peoples», мы получили возможность по единым критериям оценивать роль структур муниципальной самоорганизации в формировании этнокультурных идентичностей в Канаде, Южной Корее и в России.

Заявленная тема требует ряда пояснений, касающихся основных понятий.

Первое пояснение.

Поскольку понятие «идентичность» в его общенаучном употреблении достаточно широко объемлет различные формы (виды) идентичности, постольку необходимо оговориться, о какой именно идентичности мы будем вести речь. Идентичность – это, в нашем понимании, социокультурный феномен человеческого себя-определения, себя-именования. Поэтому, говоря об идентичности, будем иметь в виду те ситуации, когда *происходит* (становление идентичности) или уже *произошло* (идентичность как свойство) себя-именование, себя-определение. При этом словом «именование» мы хотим выразить присутствие в нашем понимание того, что А.Ф. Лосев определял понятием «имя» [3], а словом «определение» – присутствие того «определения ситуации», которое фигурирует в «теореме У. Томаса» [2, с. 66]. Иначе говоря, идентичность – это часть того, что образует *для-себя* субъектную самость и *для-себя* индивидуальное лицо (имидж) человеческой личности, мыслящей себя в качестве *части* локального человеческого сообщества.

Идентичность складывается из совокупности отношений (практик) человека с окружающим миром. Так, в отношениях с природным миром формируются природные формы идентичности (от архаического тотемизма до современного нудизма), в отношениях с техническими системами – технократические формы идентичности (меломания, компьютеромания и пр.) и т.д. и т.п. Мы же будем говорить о том секторе идентичности, которая формируется в отношениях человека с другим человеком, в котором происходит идентификация человека по человеку. В этом тоже достаточно обширном секторе мы выделяем для себя две формы идентичности – этническая (этнокультурная) идентичность и национальная (нациокультурная) идентичность. Соответственно речь будет идти о двух формациях культуры, которые, с одной стороны, существуют в одном пространстве и времени, а с другой стороны, не «перемешиваются», сохраняют известную обособленность.

Второе пояснение.

Почему муниципальная самоорганизация? Понятие «муниципальная самоорганизация» имеет три контекста: а) административно-правовой, в рамках которого исследуются его правовые основы, оргструктура, разделение полномочий и предметов ведения и пр.; б) экономический, в рамках которого изучаются муниципальные экономические и хозяйственные практики, муниципальные бюджеты и т.п.; в) социокультурный, в рамках которого в поле зрения попадают структуры повседневной жизни локальных сообществ, те структуры, которые являются источниками внутренней нормативности, внутреннего порядка, – то есть все то, что организует внутреннее пространство сообществ локальных. В первых двух контекстах более точным будет понятие «муниципальное *самоуправление*». А для последнего контекста в словах «муниципальная самоорганизация» надо отметить метафоричность слова «*муниципальный*», указывающего на при-земленность повседневного бытия локальных (региональных) культур. Именно в этом последнем контексте мы и рассматриваем проблемы идентичности.

Главная особенность структур муниципальной самоорганизации состоит в том, что они «сотканы» из отношений, которые П. Рикер называет «ближними». Это миры повседневности, где все социальные отношения основываются на непосредственных, «коротких» отношениях между людьми, миры, где все друг друга знают «в лицо». В статье «Социус и ближний» Рикер говорит о разрыве между миром «коротких» и миром «длинных» отношений между людьми, о *противоречии* «ближних» и «социуса», когда «отношение к ближнему» («короткие» отношения человека к человеку) деградирует под давлением «отношения к социусу» («длинные» отношения, осуществляемые через социальные институты и аппараты) [4, с. 132]. Здесь принципиально важно, во-первых, то, что сфера «отношений к ближнему» является базовой основой формирования идентичностей. Во-вторых, важно то, что социальная дистанция между миром «коротких» и миром «длинных» отношений имеет правовую интерпретацию в виде принципа конституционного разделения муниципальной и государственной власти (в России) или в виде иных правовых норм. Иначе говоря, названная социальная дистанция имеет определенное оформление в праве.

Отсюда необходимо отметить еще одну особенность миров муниципальной самоорганизации, которая состоит в том, что в них происходит непосредственное соприкосновение («диффузия») структур государственной власти и при-земленных локальных культур самоорганизации. Если говорить в терминах Ю. Хабермаса, то именно здесь непосредственно соприкасаются «система» (власти государства) и «жизненные миры» (частная, общественная, но негосударственная жизнь людей). Понятие «жизненный мир» восходит к Э. Гуссерлю и означает интерсубъективную, изначально очевидную данность мира, предшествующую его научным (от себя заметим – институциональным. – *А.Д.*) тематизациям [7, с. 123]. Для при-земленного слоя «жизненных миров» характерна относительная самостоятельность социальных полей и связей от государства. В терминах Э. Геллнера – это отношение «общности»

(«Gemeischaft») и «общества» («Gesellschaft») [15, p. 1 – 8]. При этом мы имеем в виду, что «общность» – это сфера, в основе которой – «короткие» отношения и «жизненные миры», а «общество» – сфера, основы которой образуются «длинными» отношениями и институтами государства.

Иначе говоря, в социокультурном контексте структуры муниципальной самоорганизации – это мир людей, на повседневной активности которых непосредственно сходятся два одновременно действующих источника нормативности: а) внешний («со стороны») – *государство* со своими нормами права и б) внутренний («свой») – *культура* через традиционные повседневные устои «коротких» отношений, формализованных в большей или меньшей степени в практиках самоорганизации.

Третье пояснение.

Проблема различения таких феноменов, как «этнос» и «нация», несмотря на обилие публикаций, не имеет ясного решения. Уточняя свою позицию, мы остановимся на полемике с С.Е. Рыбаковым, который, при наличии ряда спорных положений, выявил одну важную деталь названной проблемы. Он обосновывает тезис: «Нация не есть высшая стадия развития этноса» [5, с. 35]. «*Различие же между этносом и нацией на уровне личности* обусловлено разной природой этих феноменов – естественной у этносов и в определенном смысле (!) искусственной у нации» [5, с. 36]. Это важное положение, которое позволяет говорить о *параллельном*, *одновременном*, а не «последовательном» (в истории) существовании «этноса» и «нации» в современном социуме. Далее Рыбаков поясняет мысль о том, что глубинные основы, на которых утверждаются «этнос» и «нация», *разные*. «Объективные корни этнического лежат в бессознательных структурах самой личности, а соответствующие поведенческие установки формируются в процессе социализации «снизу» («изнутри») – от этнических систем оценки в виде априорных практик усмотрения ценностных инвариантов. Нация же базируется не на глубинных

сущностных структурах личности; объект национальной идентичности лежит вне человека, в социуме» [5, с. 37]. Вместе с этим автором мы разделяем точку зрения, согласно которой нация возникает как продукт активности институтов государства и развивается на «каркасе» институтов государства. Поэтому в процессе нациестроительства всегда заложена основа для возникновения «принципиального **противоречия между политическим и этническим структурированием общества в эпоху национального государства**» [5, с. 42].

Существенные возражения вызывает понимание природы «этноса», в основе которого тезис о том, что «этническое рождается из личности» [5, с. 29]. В противоположность этому мы убеждены, что этническая идентичность – это коллективный феномен, и поэтому природа «этноса» не индивидуальная, а *коллективная*. В основе этноса лежат «короткие» связи между людьми, «помноженные» на кровно-родственные или, как иногда говорят, *династические отношения*. Принципиально важно, что эта структура династически окрашенных «коротких» отношений остается этнической, если сохраняет *функции социально-исторической памяти* своего сообщества, объемлющей архетипы основных повседневных практик. Разрушение либо одного («короткие» династические связи), либо другого (функция социально исторического памятования) основания бытия этноса приводит к разрушению этнических сообществ, превращает их в сырье для нациестроительства. Если же то и другое основание сохраняется, тогда «этнос» может жить одновременно с «нацией», он продолжает жить параллельной и относительно независимой от «нации» жизнью.

Основания сравнительного анализа.

Опираясь на изложенное выше понимание проблемы соотношения «нации» и «этноса», можно сравнивать состояние этнической и национальной идентичности.

Первое основание. В качестве базового «этнонима» может быть принято канадское «first nations» (первые нации) или «aboriginal peoples» (аборигены, исконные жители), которые

указывают на класс этнических сообществ, заселявших территории до появления на них современных «национальных государств». В России адекватным (с учетом ряда внутриполитических оттенков смысла) можно считать понятие «титульная нация». Все эти понятия, при всей своей «нестрогости», указывают тем не менее на феномен существования «этноса» и (при) «нации».

Второе основание. Зоной непосредственного контакта «этноса» и «нации» является сфера местного самоуправления. Поэтому сравнение функций и задач, которые возлагаются на структуры самоуправления, могут служить индикатором соотношения этнической и национальной идентичностей.

Третье основание. Индикатором этнической идентичности является состояние династических «коротких» отношений сообщества, поэтому роли сравнение династических, кровнородственных отношений и структур позволяет выявить ресурсы самоорганизации и самоидентификации «этносов» в системе «национальных государств».

Этническая идентичность в Канаде.

Как «национальное государство» Канада формировалась путем вытеснения «aboriginal peoples» переселенцами из Франции и Англии XVII – XVIII вв. [9]. В результате Канада представляет собой образец «национального государства», которое одновременно и полинационально, и полиэтнично. Следовательно, здесь причудливо переплетаются элементы нациокультурной и этнокультурной идентичности. С одной стороны, – это государство, в котором национальная идентичность (канадцы) формировалась как альтернатива этнической идентичности (идентичности «aboriginal peoples»). С другой стороны, оно формировалось как общая «надстройка» для французской и английской нациокультур. Иначе говоря, становление «национального государства» опиралось на нациокультурные идентичности переселенцев-колонизаторов и «отталкивалось» от этнокультурных идентичностей аборигенного населения

В настоящее время Канада как «национальное государство» стремится реабилитировать сохранившиеся сообщества аборигенного населения и тем самым выражает готовность загладить историческую вину перед ними [12]. Одно из средств такой реабилитации – проекты, стимулирующие развитие основ самоуправления в местах компактного проживания «aboriginal peoples», в рамках которых предпринимается попытка сближения «законов» жизни индейцев и государственного права Канады [10; 11; 13].

Структуры локальной (муниципальной) самоорганизации канадских индейцев выступают в качестве каркасов этнокультурной идентичности. Они призваны вдохнуть в хиреющие этнические социумы дух самостоятельного себя-именования, себя-осознания и идентичности [14].

Этническая идентичность в Южной Корее.

Южная Корея представляет собой образец моноэтнического «национального государства», в котором этническая идентичность (этнокультура) и национальная идентичность (национокультура) существуют параллельно, одновременно. Все население исконно представляет собой «aboriginal peoples» одной этнокультурной генерации – корейцы. Поэтому этнокультура корейцев как «aboriginal peoples» оформилась здесь в национальное государство Корея. Национокультура формируется, культивируется государством с помощью идеи «единой Кореи», адресованной к моноэнической среде корейцев. Идея «единой Кореи» ведет свое происхождение от одного предка (миф о Тан-гун) [16] и трансформируется в разные периоды истории. В первой половине XX века национокультура «подпитывалась» антияпонскими, антиколониальными настроениями, в период президентства Па Чунг Хи (Park Chung Hee) – идеологией авторитаризма, в настоящее время она черпает энергию в идее объединения двух Корей.

При этом этническая идентичность корейцев была «параллельной» жизнью и достаточно гармонично коэволюционировала вместе с национальной идентичностью. Ее важнейшим

структурным элементом выступал институт корейской семьи. Во времена японской оккупации он был модифицирован под интересы метрополии, но был сохранен. В период военной диктатуры он был адаптирован под иную модель «национального государства» и продолжил свое существование, хотя исследователи отмечают, что сохранившаяся до сих пор японская система управления семьей устарела и нуждается в модернизации [17]. В настоящее время институт управления семьей – остается неотъемлемым каркасом «коротких» отношений корейского общества, которые закреплены соответствующими законами Кореи. В Корее считают, что эти законы надо приводить в соответствие с реалиями современности, но отменять институт управления семьей нет необходимости [18]. Под требования системы управления семьей во многом приспособлены и структуры муниципального самоуправления и обслуживания.

Этническая идентичность в России.

Россия представляет собой образец полиэтнического и полинационального государства. Поэтому классический термин «национальное государство» к ней не подходит (в отличие от Канады и Южной Кореи). Прежде всего, надо отметить, что все население России – это «aboriginal peoples». Среди них есть этнические сообщества, которые были «основателями» государства Российского, но в результате утратили почти полностью свою этнокультурную идентичность (русские). В то же время есть этнические сообщества, которые тихо жили под крылом Российского государства, состарились и теперь находятся на грани исчезновения или активно разбавляются русской национультурной массой (вепсы, манси и др. народы российского Севера). Есть, наконец, третья группа этнических сообществ, в той или иной степени причастных к процессам оформления российской государственности (XVIII – XIX вв.), которым свойственна российская национультурная идентичность, но которые при этом сохранили также и свою исконную этнокультурную идентичность (народы Северного Кавказа, татары, башкиры, чуваши и др.)

Так, структурной основой этнокультурной идентичности народов Кавказа остаются династические связи, образующие тейповую структуру этих локальных сообществ [8, с. 185 – 191]. На этих же династических структурах сохраняются и некоторые формы традиционного «права» (адат), которые регулируют, нормируют «короткие» отношения внутри сообществ. При нынешней системе административно-территориального деления (а она сложилась в первой трети XX века) адат существует как параллельная или альтернативная муниципальному законодательству система нормативности [1, с. 211 – 232; 6, с. 203 – 210]. Эта дуальная нормативность на протяжении всего XX века так и не перешла в состояние более-менее устойчивой коэволюции, но была и остается внутренним источником трений и конфликтов на соответствующих территориях России.

В заключение необходимо отметить следующее.

1. Модели *сосуществования* этнокультуры и национкультуры в разных странах мира складываются по-разному, но это разнообразие подтверждает тезис о том, что «этнос» и «нация», при том что «этнос» исторически первичен, могут существовать параллельно, одновременно. Более того, коэволюция является наиболее предпочтительной моделью их сосуществования. Следовательно, необходимо принимать во внимание, что национкультурный контекст бытия этнической идентичности зависит от специфики этно-национкультурного баланса страны или региона.

2. Наряду с внешними проявлениями этнокультурной идентичности необходимо видеть также и внутренний «каркас» этого феномена. Таковым выступают специфические структуры самоорганизации «коротких» отношений внутри локального сообщества, которые мы определили как «структуры муниципальной самоорганизации». Исследования показали, что в Канаде, России и Южной Корее – это разные структуры. Тем не менее все они существуют и развиваются при тех же «этажах» институтов государства, которые принято именовать «местное (или муниципальное) самоуправление». В Канаде – это непосредственно структуры особых муниципали-

тетов в районах компактного проживания «aboriginal peoples»; в России – это тейп, адат и др., которые существуют параллельно с институтами муниципального права, «едят тот же хлеб»; в Южной Корее – это институт управления семьей, пронизывающий собой все корейское общество, сохраняя тем самым масштабное присутствие в нем «коротких» отношений между людьми.

3. Структуры муниципальной самоорганизации локальных этнокультурных сообществ являются носителями тех фоновых практик, которые изнутри скрепляют эти сообщества. Поэтому они должны рассматриваться в качестве одного из главных факторов этнокультурной идентичности в современном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

1. *Бабич И.Л.* Правовая действительность и ее исторические корни на Северном Кавказе. // Россия и Кавказ сквозь два столетия. СПб.: Звезда. 2001.

2. *Ионин Л.Г.* Социология культуры. М.: Логос. 1996.

3. *Лосев А.Ф.* Философия имени. М. 1991.

4. *Рикер П.* История и истина. СПб.: Алетейя, 2002.

5. *Рыбаков С.Е.* Анатомия этнической деструктивности. 1. Два облика национализма // Вестн. МГУ. Сер. 18: Политология и социология. 2001. №3.

6. *Трофимова Т.Г.* Характер взаимоотношений между правовыми традициями карачаевцев и властными структурами // Россия и Кавказ сквозь два столетия. СПб.: Звезда, 2001.

7. *Хабермас Ю.* Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2.

8. *Чеченцы*: история и современность. М.: Мир дому твоему, 1996.

9. *Aboriginal* peoples and archives: a brief history of aboriginal and European relations in Canada. Ottawa, 1997.

10. *Bill C-75*: an act providing for the ratification and the bringing into effect of the framework agreement on first nation land management. Ottawa, 1997.

11. *Bringing* the cultural divide: a report on Aboriginal people and criminal justice in Canada. Ottawa, 1996.

12. *De Vries, John.* Analytical overview of the literature on ethnocultural community development and integration. Ottawa, 1988.

13. *Dickerson, M.O.* Whose North?: Political change, political development, and self-government in the Northwest Territories. Vancouver, 1992.

14. *Executive* summary: Aboriginal self-government: a summary of the Government of Canada's approach to implementation of the inherent right and negotiation of aboriginal self-government. Ottawa, 1995.

15. *Gellner E.* Introduction // Nations and nationalism / Previal S. (ed.). Budapest; London; New York: Central European university press, 1995.

16. *Hyung Il Pai.* Constructing «Korean» Origins: A Critical Review of Archaeology, Historiography, and Racial Myth in Korean State Formation Theories. Cambridge, Mass., and London, 2000.

17. *Lee Eun-Young.* Hoju Family Headship System Ill-suited to Modern Family Life // Korea Focus. 2002. Vol. 10. No.2.

18. *Lee Suk-Tae.* Problems with Korea's Family 'Headship' System // Korea Focus. 2002. Vol. 9. No.6.

А.С. Макарычев

ИДЕНТИЧНОСТИ БАЛТИЙСКИХ ПРОСТРАНСТВ: СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ?

Введение

Идентичности по-разному определяются различными специалистами в области международных отношений:

– «набор смыслов», с помощью которых актор строит свои взаимоотношения с окружающей социальной средой посредством нормативного дискурса, в котором решающую роль играют метафоры, символы, имиджи;

– относительно стабильные представления и ожидания актора в отношении самого себя, имеющие концептуальную основу и составляющие социальную структуру мира;

– «когнитивные схемы», помогающие акторам социализироваться и позиционироваться с точки зрения своих ролей. Коллективные идентичности основываются на солидарности между членами сообщества.

Внедрение категории идентичности в миро-политический дискурс меняет представления о многих традиционных концептах, которыми пользуются специалисты в области сравнительной политики и международных отношений. В настоящей статье я остановлюсь на анализе концептуальной «связки» «идентичность – регионализм», которая может быть наилучшим образом понята в рамках конструктивистской школы.

Конечно, конструктивизм не является внутренне однородным течением в теории: его радикальные версии, к примеру, уводят в мир виртуальных, чисто умозрительных и оторванных от реальности прожектов. Но в конструктивизме есть много полезного и вполне применимого для анализа процессов, происходящих в Балтийском регионе. Кроме того, в российских экспертных кругах есть потребность в понимании и освоении теоретического багажа этой школы, на языке которой говорят многие наши европейские коллеги.

Идентичность и власть

Процессы формирования коллективных идентичностей и их последствия можно описать по следующей схеме: *акторы* приобретают *идентичности* посредством участия в генерировании и распространении «*коллективных смыслов*», что в конечном итоге приводит к преобразованию: а) *структур;* б) интересов; в) *практик* (то есть способов взаимодействия между акторами в процессе принятия решений). Эти изменения могут быть направлены не только в сторону большей готовности к *сотрудничеству* (в том числе и вопреки стратегическим или геополитическим расчетам), но и к большей конфликтности (сецессия, дезинтеграция и фрагментация) [1, с. 186 – 208].

С одной стороны, по словам Джона Васкеза, идентичность – это форма социального конструирования, которая может рассматриваться как одна из форм контроля, а следовательно, – как «проявление власти» [2, с. 232]. Так, многие европейские политики и эксперты считают, что основное препятствие для политического сближения между РФ и ЕС заключается в том, что

«Россия еще не обрела новой идентичности» [3, с. 158]. Тяжесть «демократического транзита» в РФ многие специалисты напрямую связывают с «кризисом идентичности» [4, с. 63].

С другой стороны, сам концепт политической власти можно рассматривать сквозь призму идентичности: например, при отсутствии национальной идентичности политические институты могут быть слабыми или чисто номинальными (Югославия) [5, с. 5]. Идентичность существенно влияет и на процессы формирования институциональных структур транснациональных регионов. Другими словами, в отсутствие общей идентичности многие институты просто не смогли бы возникнуть (например, Арктический совет, Совет государств Балтийского моря и др.). Такой подход трактует институты как продукты человеческого сознания, обусловленные идентичностью.

Регионы формируются под воздействием различных социальных практик и сопутствующих им властных отношений, причем в определенных территориальных рамках. Таким образом, границы и институты являются важнейшими определителями региональной идентичности, которая фактически приравнивается к феномену социального воспроизводства [6, с. 46 – 47].

Идентичность и регионализм

Традиционно понятие идентичности достаточно жестко локализовывалось, то есть привязывалось к определенному месту. Территория была важнейшим фактором, позволяющим ответить на вопрос о том, кем является и что представляет собой тот или иной человек или группа людей (другими словами, чтобы ответить на вопрос о том, кто ты такой, нужно знать, откуда ты) [7, с. 653]. Здравко Млынар, к примеру, полагает, что формы территориальной идентификации сильнее, чем все известные варианты транснациональных или наднациональных общностей. «В демократических или авторитарных странах, на Западе и в третьем мире, международные движения сегодня испытывают болезненный возврат к локальным формам за счет потери значительной части своей ау-

дитории. Все универсальные братства, будь то коммунизм, исламизм или христианство, доказали свою неспособность ослабить привязанность человека к своему кусочку земли, который выступает в качестве фрагментирующегося, но тем не менее необычайно эффективного символа» [8, с. 28 – 33].

Но ситуация поменялась. Теперь об идентичности имеет смысл говорить, прежде всего, применительно к определенным социальным, профессиональным, этно-религиозным и профессиональным единицам (акторам), которые составляют сильную конкуренцию территориальным единицам на «рынке идентичностей» [9, с. 25]. Идентичности могут взаимодействовать друг с другом лишь в «сетевом» (а не административном) режиме, на принципах децентрализованной (дерегулированной) региональности. В отличие от взаимоотношений между политическими акторами, отношения в области идентичности являются более гибкими и зависящими от культурно-исторического контекста. В частности, пространственный фактор оказал влияние на появление концепта «измерения» (dimensionalism) как нового вида регионализма [10].

В последние годы во многих Балтийских странах получила широкое распространение точка зрения о том, что благодаря обращению к категории идентичности мы воспринимаем регионы (как внутренние, так и международные) не столько как территории или административно-управленческие единицы, сколько как «живые», социально и интеллектуально конструируемые пространства. Их границы определяются не столько географическими категориями, сколько общей идентичностью («чувством принадлежности», набором добровольно разделяемых норм и ценностей, приверженностью определенным процедурам).

Дух идентичности хорошо отражается в метафоре «открытой географии» (которая противостоит другой метафоре – «неизбежной географии» [11, с. 161]). Идея «открытости» в данном смысловом контексте означает, что «географические маркеры» относительны и зависят от контекста, определяемого динамикой появления новых форм идентичности [12,

с. 5]. Принципиально, что у субъектов региональных отношений всегда есть право выбора: география не является «стальной клеткой», поскольку географические аффилиации могут быть реинтерпретированы [13, с. 10 – 13]. Регионы, понимаемые как социально-культурные конструкты, могут, если следовать логике Пертти Йонниеми, «встречаться», «сталкиваться» друг с другом, «представлять свои нарративы» и т.д. [14, с. 22 – 23]. Интересно в этом контексте появление таких терминов, как «новая Восточная Европа» (включающая, по мнению Дмитрия Тренина, Украину, Беларусь и Молдову) [15, с. 160].

Видимо, такой подход дал толчок к формированию концепции «обучающегося региона», согласно которой регионы могут иметь свои «жизненные циклы» – период зарождения, появления «лица», взросления (через обучение и появление институтов гражданского общества) и т.д. В этих представлениях видны следы как теории Л. Гумилева, так и И. Канта (для которого образование было показателем зрелости человека).

Здесь уместно было бы вспомнить, что сам концепт идентичности пришел в сферу международных отношений из социальной психологии, занимающейся проблемой межгрупповых отношений. Об идентичности писали З. Фрейд, Э. Фромм и многие другие психологи и социологи. Идентичность при этом чаще всего рассматривалась как показатель определенного уровня комфортного существования и одновременно – как инструмент для оценочного сравнения [16, с. 11 – 25]. Традиции таких подходов живы и по сей день. К примеру, Сергей Медведев пишет о «России как о подсознании Европы» в том смысле, что «Россия находится за пределами европейского тела, но внутри европейской ментальности». В рамках создания европейского «Я» Россия чаще всего играла роль «Другого»: «Россия как пространство конституировала Европу как территорию» [17, с. 321 – 344].

В другой своей работе С. Медведев прямо использует фрейдистские термины для характеристики взаимоотношений между важнейшими акторами Балтийского региона: по отношению к Финляндии «Россия – это ревнивая и властная мать»,

а «Европа – отец», или «супер-эго». Адаптируя жизненные установки «маскулинной Европы», Финляндия, таким образом, разрешает собственный «эдипов комплекс», однако все равно остается в состоянии «невротической зависимости» от России, которая основана на «детской травме» и порождает «подсознательные страхи». В качестве же объекта «желания» для Финляндии выступает потерянная Карелия, хотя это «желание» сублимируется и виде политической идеологии нейтральности в период «холодной войны» и повышенной международной активности в 1990-е годы (имеется в виду программа «Северное измерение») [18, с. 95 – 106].

Российский автор Денис Драгунский в том же духе говорит о широко распространенном восприятии «территории» и «почвы» как биологических объектов, у которых есть «собственное тело» [19, с. 6]. Голландский ученый Петер ван Хам также прибегает к фрейдистским терминам, объясняя желание ЕС обрести отличную от США идентичность «нарциссизмом незначительных отличий» – по аналогии с очень похожими друг на друга людьми, которые враждуют из-за желания подчеркнуть свое своеобразие [20, с. 397].

Распространение фрейдистских аналогий в регионалистском дискурсе, на мой взгляд, связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, оно является свидетельством растущей междисциплинарности исследований в области общественных дисциплин и их интеграции. Во-вторых, этот феномен можно рассматривать как симптом «очеловечивания географии» (другими словами, движения от «абстрактных», «холодных», нейтральных по отношению к человеку характеристик территории к «теплым» образам и картинам мира).

Идентичность и образы регионов

Многие из терминов, используемых в современной регионалистике, представляют своего рода исторически конструируемые нарративы, формирующие пространственный дискурс, основанный скорее на культурном, нежели на географическом, понима-

нии регионализма [21]. Под воздействием разных типов дискурса формируются различные региональные практики, основанные на нарративах и «устной истории» (remembrances).

К таким взглядам примыкает концепция историко-географических *образов*. Однако этот концепт трактуется в литературе по-разному. Есть точка зрения Д. Замятина, согласно которой географические образы «представляют собой наиболее компактное, сжатое знание или сознание какой-либо территории, степень ее ментальной освоенности» [22, с. 105 – 138]. Другими словами, образы – это «совокупность ярких, характерных … знаков, символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные пространства», и в этом качестве они могут быть «инструментом освоения и присвоения властью пространства». Примеры:

– Россия как «фронтирная страна Европы», как «Скандовизантия»;

– Европа как высший стандарт качества («евроремонт», «евростандарт» и пр.);

– «Прибалтика» как нерасчлененное в российском общественном сознании целое [23, с. 2].

Согласно другой, более узкой точке зрения (представленной, в частности, в статьях А. Титкова), образы регионов формируются СМИ и политическими элитами в результате целенаправленного сбора, осмысления и трансляции информации на базе относительно узкого набора тем и событий (например, «красный пояс») [24]. Так, Санкт-Петербург привычно именуется «культурной столицей России» [25], Новгород – «колыбелью русской демократии», Калининград – «западными воротами России» и «Янтарным краем», Нижний Новгород – «карманом России», или «российским Детройтом», и т.д. Составной частью подобной риторики в исполнении региональных элит стали стремления в выгодном свете представить ситуацию в своем регионе по контрасту с другими субъектами Федерации.

При этом вполне вероятна ситуация, при которой восприятие мира посредством образов оказывает на полити-

ческих и общественных деятелей более существенное влияние, чем рациональная концептуализация. Одновременно мы наблюдаем эстетизацию, если не поэтизацию политико-академического дискурса.

Одна из проблем при этом состоит в том, что взгляд на региональные процессы сквозь призму образов приводит к тому, что конструирование идентичности для внешнего потребления чаще всего предполагает ретуширование или игнорирование внутренних расколов. Образ, подобно авторскому «взгляду на мир» («a world picture»), подчеркивает одни черты реальности и скрывает другие, предоставляя читателю (или зрителю) возможность самостоятельных «прочтений» [26, с. 5]. Допустим, широко пропагандируемая концепция «нордизма» полна внутренних расколов: к примеру, Швеция прохладно относится к программе «Северное измерение», предпочитая (в отличие от Финляндии) ассоциировать себя скорее со «скандинавизмом», чем с «нордизмом».

Идентичность и пространства: «скандинавизм» – «нордизм» – «балтизм»

Трансформация «национальных» идентичностей в цивилизационные накладывает отпечаток и на сами процессы, на терминологию, которая используется в международно-политическом дискурсе. К примеру, вне категорий идентичности невозможно понять суть различия между концептами «Северной» и «Нордической» Европы; или смысл дискуссий о том, является ли постсоветская Прибалтика частью «Балтийской», «Северной» или «Центральной» Европы [27, с. 19 – 40]. Различие между финской программой «Северное измерение» и Североевропейской инициативой США тоже станет мало понятным без обращения к категории идентичности.

Европа не дает нам примера единой идентичности. С XIX века процессы интеграции на севере Европы разворачивались в рамках так называемого «*скандинавизма*», который представлял один из нескольких аналогичных проектов, сосущест-

вовавших друг с другом в Старом Свете (наряду с пан-славизмом, пан-германизмом и объединением Италии). Модель «Нордической» интеграции, первые очертания которой стали просматриваться в конце XIX века в виде планов создания конфедерации и образования таможенного союза, стала представлять собой расширенную версию «скандинавизма» [28, с. 40 – 45]. Под влиянием Швеции в 1919 году была создана Нордическая ассоциация – первое институциональное воплощение вышеупомянутой идеи [29, с. 40].

«*Нордический проект*» первоначально возник как концепция, нацеленная на возрождение (как в случае с идеей о «Новой Ганзе» [30, с. 15]) важнейших характеристик региональной идентичности. Так, концепция «нордичности» (Nordicity) характеризуется как «неевропейская», «некатолическая», «не связанная с римским историческим наследием», «неколониальная», «не тяготеющая к эксплуатации», «склонная к географически малым формам», «миролюбивая», «преимущественно социал-демократическая» [31, с. 2] и с большим уровнем социальной защищенности. Нордический проект, согласно устоявшейся точке зрения, это – классический пример того, как некогда «маргинальный» (то есть геополитически находящийся на краю) регион может получить преимущества от своего расположения.

Существует точка зрения о том, что проект *Балтийского регионостроительства* строится по уже апробированной ранее нордической модели: «Нордический Совет рассматривает сотрудничество в Балтийском море как способ распространения «северной демократии». «Балтизм», другими словами, представляет собой расширенную – с геокультурной точки зрения – версию «старого нордизма». При этом миссия нордической идентичности – это «придать новый смысл европейской интеграции», но не предложить альтернативу ей [32, с. 172 – 175].

Вопрос о соотношении нордической и европейской идентичностей является действительно очень запутанным. К при-

меру, британский исследователь Ноэль Паркер придерживается той точки зрения, что «нордическая идентичность» не является ни внешней по отношению к европейской, ни составной ее частью. По его словам, Нордический регион «отличный, но не отделенный» от континентальной Европы, которая «не смогла поглотить зону Севера; в то же время та имела все основания сотрудничать с Европой, одновременно подчеркивая свою специфику для того, чтобы сохранить себе поле для маневров при взаимоотношениях с более сильным Югом» (иногда под этим понималась вполне конкретная держава – Германия). Лейтмотивом возникновения и продвижения «нордической идентичности» было стремление дать ответ «Европе, становящейся все больше и больше» [33]. Другими словами, специфику Нордических стран можно понять только в противопоставлении так называемому «европейскому другому» (European 'other'). Причем процессы глобализации не стирают нордическую своеобычность [34, с. 413].

В результате возникает многоуровневая и сетевая по своей природе система пространств, обусловленная фактором идентичности. Так, зона пересечения Балтийского и Нордического регионов может быть названа «Балтийским Севером» [35, с. 9, 16], который может выступать в роли нового пространственно-географического «маркера». Будут ли идентичности различных уровней противоречить или взаимно дополнять друг друга – это пока открытый вопрос.

Заключение

Исходя из приведенного выше анализа, можно предположить, что понятие «российская идентичность» в будущем станет более разноплановым; одни формы идентичности могут накладываться на другие. Широко понимаемая глобализация усилит самобытность составных частей России и одновременно обострит многие линии идентификационных расколов.

Идентичность в значительной мере формируется на низовом (субнациональном) уровне. Однако в этом контексте возникает одна проблема. Большинство приграничных территорий РФ вынуждено встраиваться в те или иные идентификационные поля, центры формирования которых находятся за пределами России (примером могут служить модели регионостроительства в Северной и Балтийской Европе, основанные на конструировании общей системы ценностей и лояльностей). Способность российских регионов стать генераторами полюсов идентичности для сопредельных территорий зарубежных стран остается под очень большим вопросом. В этом смысле название одной из работ шведского исследователя Ингмара Олдбера «Калининград между Москвой и Брюсселем» следует воспринимать в том числе и как позиционирование региона в идентификационной системе координат [36].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Hasenclever A., Mayer P., Rittberger V.* Theories of International Regimes. Cambridge University Press, 1997.

2. *Васкез Д.Ф.* Постпозитивистское течение: реконструирование научного подхода и теории международных отношений в эпоху критики классического рационализма // Теория международных отношений / Под ред. К. Буса и С. Смита. М.: Гардарики, 2002.

3. *Фольмер Л.* Россия в европейском контексте // Полития, 1999. №1.

4. *Yevgeneva T.* The Myth of the «West» in Russian Political Culture and its Impact on Foreign and Security Policy // Russia's Place in Europe. A Security Debate / Ed. by Kurt R. Spillmann and Andreas Wenger. V. 1. Peter Lang: Studies in Contemporary History and Security Policy, 1999.

5. *Knudsen O.* Power Disparity, Identity and Cooperative Security: An Overall Perspective. Paper presented at the Waxholm Conference, August 16 – 17, 2002.

6. *Paasi A.* Constructing Territories, Boundaries and Regional Identities // Contested Territory. Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire. Edited by Tuomas Forsberg. Edward Elgar: Studies of Communism in Transition, 1995.

7. *Mandaville P.G.* Territory and Translocality: Discrepant Idioms of Political Identity // Millenium: Journal of International Studies. 1999. Vol. 28. № 3.

8. *Global* Modernities / Ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. SAGE Publication, 1995.

9. *Viktorova J.* Borders, regions, and security: on an intersection // Regional Dimensions of Security in Border Areas of Northern and Eastern Europe / Ed. by P. Joenniemi & J. Viktorova. Tartu: Peipsi CTC, 2001.

10. *Реут О.Ч.* Россия регионов и (Северная) «Европа измерений», http://www.rami.ru.

11. *Gray C.* Inescapable Geography // The Journal of Strategic Studies. 1999. Vol. 22. № 2/3.

12. *Joenniemi P.* Racing to Regionalise? The EU's Northern Dimension Initiative. Paper presented at the CEEISA/RISA/NISA Convention, Moscow, 2002. June 21.

13. *Albert M.* From Territorial to Functional Space: Germany and the Baltic Sea Area. COPRI Working Paper, 2000. № 39.

14. *Joenniemi P., Lehti M.* On the Encounter Between the Nordic and the Northern: Torn Apart but Meeting Again? COPRI Working Paper 36/2001.

15. *Trenin D.* The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. Carnegie Moscow Center, 2001.

16. *Стефаненко Т.Г.* Изучение идентификационных процессов в психологии и смежных науках // Трансформация идентификационных структур в современной России: Науч. докл. М.: МОНФ, 2001. №130.

17. *Medvedev S.* Riding into the Sunset: Russia's Long Journey into Europe. Europe as a Vocation and a Calling // New Dimensions of Security / Ed. by J. Huru, O.-P. Jalonen, M. Sheehan. Tampere Peace Research Institute: Research Report, 1998. № 83.

18. *Medvedev S.* Russia as the Subconsciousness of Finland // Security Dialogue. 1999. Vol. 30 (1).

19. *Драгунский Д.* Красная глина (идея территории – почвы – родины в политическом дискурсе) // Космополис. 2002 – 2003. №2.

20. *van Ham P.* Security and Culture, or, Why NATO Won't Last // Security Dialogue. December 2001. Vol. 32 (4).

21. *Joenniemi P., Lehti M.* On the encounter between Nordic and the northern: torn apart but meeting again? COPRI Working Papers Series, 2001, at www.copri.dk

22. *Замятин Д.Н.* Стратегии интерпретации историко-географических образов России // Мир России. 2002. №2.

23. *Marin A.* Russia's 'Baltic' regions within the Northern Dimension: challenges and prospects for the future. Paper presented at the international academic conference 'Russia and the EU in a wider Europe: new openings and old barriers'. St. Petersburg State University, 2002. September 20.

24. *Титков А.С.* Образы регионов в российском массовом сознании, http://www.politstudies.ru/fulltext/1999/3/6.htm.

25. *Boym S.* The Future of Nostalgia. Basic Books. Perseus Books Group, 2001.

26. *Fry G., O'Hagan J.* Contending Images of World Politics: An Introduction // Contending Images of World Politics / Ed. by G. Fry and J. O'Hagan. McMillan, 2000.

27. *Nekrasas E.* Is Lithuania a Northern or Central European Country? // Lithuanian Foreign Policy Review. 1998. № 1.

28. *Strath B.* Scandinavian Identity: a Mythical Reality // European Identities. Cultural Diversity and Integration in Europe since 1700 // Ed. by Nils Arne Sorensen. Odense University Press, 1995.

29. *Tunander O.* Norway, Sweden and Nordic Cooperation // Security in the European North. From «Hard» to «Soft» / Ed. by L. Heininen, G. Lassinantti. Arctic Centre, University of Lapland & The Olof Palme International Center: Arctic Centre Reports, 1999. 32.

30. *Krohn A.* Schleswig-Holstein Goes International. COPRI Working Paper. 1998. № 30.

31. *Tiilikainen T.* The Political Implications of the EU Enlargement to the Baltic States. European University Institute Working Paper RSC. № 2001/21.

32. *Oshima M.* Baltic Sea Cooperation and the Nordic Council (Summary) // Balto-Scandia. Some Reports of Balto-Scandinavian Studies in Japan. The Association for Balto-Scandinavian Studies, 1994.

33. *Noel Parker*. Op. cit.

34. *Scandinavia* in a New Europe. Edited by Thomas P. Boje and Sven E. Olsson Hort. Scandinavian University Press, 1993.

35. *Joenniemi P.* Can Europe Be Told from the North? Tapping into the EU's Northern Dimension. COPRI Working Paper 12/2002.

36. *Oldberg I.* Kaliningrad between Moscow and Brussels. Zurich: Center for Security Studies & Conflict Research, ETH. Working Paper N 17, March 2002.

Н.В. Андрейчук, Л.М. Гаврилина

КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА, ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕНТАЛЬНОСТЬ

Магистральное направление развития человечества в последние столетия определяется расширением взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Процессы модернизации, вестернизации, глобализации, сопровождающиеся ускорением культурной динамики, усилением культурной гомогенности, нарастанием неопределенности на фоне универсалистских тенденций, таят в себе опасность нивелировки культурной отличительности и тем самым стимулируют поиск оснований и маркеров культурной специфичности и устойчивости. Тема соотношения «глобального» – «локального» – в социогуманитарных исследованиях стала сквозной в последние десять лет. Постмодернистская апология различия, актуальность дефиниции «свой» – «чужой», идеи мультикультурализма, получившие распространение в последние десятилетия, тому пример.

В начале третьего тысячелетия в мировой культуре явно обнаруживаются взаимодействия двух противоположных тенденций: универсализма и партикуляризма, усиления культурного единства и увеличение культурного, этнического, религиозного многообразия. Это делает особенно актуальными проблемы культурного самоопределения, поиска культурной специфичности, условий межкультурной коммуникации и диалога культур, а также форм и способов их осуществления.

Эти процессы носят всеобщий характер, по-разному актуализируясь и преломляясь в различных культурных, социальных, экономических, политических, идеологических условиях. В калининградском культурном контексте данные процессы,

по понятным причинам, приобрели концентрированное выражение. Рассмотрим основные измерения проблемы. Помимо глобального, о котором речь шла выше, есть и специфический российский ракурс измерения проблемы, связанный с внутрироссийскими реалиями, в числе которых нужно назвать распад СССР, падение «железного занавеса» и коммунистической идеологии, либерализацию в сфере экономики и финансов. Все это неизбежно повлекло за собой рост национального самосознания и поиска новой культурной, социальной, национальной, этнической, субкультурной идентичности. Все пространство бывшего Советского Союза захлестнул процесс регионализации и конструирования идентичностей как способа суверенизации [1, с. 95 – 98]. В связи с этим чрезвычайную актуальность приобрела проблема соотношения общенационального и локального, регионального.

В условиях калининградского анклава проявились все вышеназванные факторы и добавились собственные.

К *геополитическим* факторам, определяющим своеобразие калининградской ситуации, можно отнести удаленность области от российского «материка» и инокультурное окружение в социальном пространстве. К *историческим* факторам – оторванность от исторических корней, инокультурное окружение в социальном времени. *Социокультурные* факторы своеобразия связаны с повышенной плотностью межкультурных контактов, ставших не только возможными, но абсолютно неизбежными начиная с 90-х годов. *Этнокультурное* своеобразие определено особенностями заселения области и спецификой формирования ее населения, высокой интенсивностью внутрикультурных контактов между представителями разных этносов и субэтносов.

Территория Калининградской области представляет собой уникальное пространство для диалога культур: российской – немецкой, российской – европейской (польской, литовской и т.д.). С достаточными основаниями сегодня можно говорить о

сложении культурного диалогового пространства[1]. Не вызывает сомнения, что для жителей Калининградской области, которым пришлось de facto вести постоянный, необходимый и неизбежный культурный диалог в социальном пространстве и времени, проблема поиска культурной идентичности стала суперактуальной, на порядок более значимой, чем для жителя российской глубинки[2].

С начала 90-х годов появляется множество публикаций, в которых анализируется проблема калининградской специфики, определяется калининградская идентичность. Спектр оценок оказался чрезвычайно широк: от отрицания какого-либо своеобразия вообще до утверждения того, что здесь сформировалась особая «калининградская нация». Сегодня, когда накал страстей несколько спал, стали возможными более взвешенные подходы. Мы считаем возможным характеризовать культуру Калининградской области как региональную субкультуру в составе общенациональной российской культуры. Субкультуры представляют собой естественный способ дифференциации развитых национальных культур, в которых наряду с базовым культурным ядром существует множество модификаций.

---

[1] В качестве «продукта» диалогового взаимодействия культур на территории Калининградской области можно рассматривать деятельность Центра инициативного досуга в г. Черняховске «Дом-Замок» (на территории бывшего Инстербургского орденского замка). Замок не является частью русской культуры, к которой принадлежит большинство участников этого проекта, однако он является частью истории их земли и тем самым становится частью их культуры. Деятельность Центра связана как с реставрацией, изучением, археологическими раскопками самого замка, так и историческими реконструкциями средневековых зрелищ, массовых празднеств и т.д.

[2] Многими опросами зафиксировано заметное преобладание контактов с Европой над контактами с «материковой» Россией: около 80% школьников, родившихся в Калининградской области, никогда не бывали в России, но многие из них уже неоднократно побывали в европейских странах.

Калининградская региональная субкультура обладает яркой спецификой, обусловленной рядом объективных факторов: географических, геополитических, исторических, этно- и социокультурных, анализ которых был предпринят авторами в одной из публикаций [2]. Современная социокультурная реальность Калининградской области позволяет допустить в качестве гипотезы возможность формирования здесь особого *«этнокультурного феномена»*, имея в виду то понимание этничности, которое получает поддержку все большего числа современных исследователей: «этнос – устойчивая в своем существовании группа людей, осознающих себя ее членами на основе любых признаков, воспринимаемых как этнодифференцирующие»[3, с. 32]. Этнос, нация – это нечто, содержащееся в сознании человека, а проблема этнических особенностей – проблема социально-психологическая. «Этническая общность – это, прежде всего, общность представлений о каких-либо признаках, а не сама по себе культурная отличительность» [3, с. 32]. Такого рода подход к пониманию этничности в современной этнологической науке, хотя и не стал общепринятым, но объединил исследователей самых разных школ и направлений. Например, Л.Н. Гумилев сходным образом определил этнос как «коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих коллективов. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, иногда – нет. Вынести за скобки можно только одно – признание каждой особью: «Мы такие-то, а все прочие другие»[4, с. 95]. Представление о своей отличительности, которое рождается на основе сравнения разных стереотипов поведения, Гумилев называет основным признаком этноса.

Осознание своей принадлежности к этнической общности, самокатегоризазция в качестве ее представителей сопровождаются частичной деперсонификацией самовосприятия и реа-

лизуются в появлении чувства, оценки: «Мы» (свои, похожие друг на друга) и «Они» (чужие, иные, другие). Пристрастность, стереотипизированность, эмоциональность подобных представлений, возможно, позволяют сомневаться в их адекватности, но отнюдь не препятствуют самоидентификации членов этнической общности и эффективному опознанию их представителями других общностей. В сегодняшнем неопределенно сложном мире именно этническая идентичность, детерминируемая самоидентификацией, обусловливает известную стабильность этнических общностей и межэтнические отношения[3].

Этническая общность формируется как результат «ближнего взаимодействия», вне действия государственных институтов, наличие которых предполагают национальные общности. Стоит отметить, что границы региональной субкультуры никак не связаны с границами субъекта РФ – Калининградской области. Будь на территории анклава две или три области, они скорее всего представляли бы собой все то же единое образование, названное нами региональной субкультурой.

Итак, этническая общность – это, прежде всего, общность представлений о каких-либо признаках, а не сама по себе культурная отличительность. Примеров существования такого рода представлений о наличии отличительных признаков у жителей Калининградской области («мы такие, а они – другие») можно привести достаточно много. Они представлены в

[3] Постановка вопроса об этнических группах внутри русского народа имеет давнюю традицию в этнологических исследованиях, она сохранена и в вышедшей недавно большой коллективной монографии «Русские» [4], авторы которой посвятили отдельную главу этническим группам русского народа, рассмотрев в ней историко-культурные региональные группы русских северной зоны, южной зоны и Центра, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана, казачества, а также русскую диаспору за рубежом. В этом контексте постановка вопроса о формировании этнокультурного феномена в Калининградской области выглядит вполне уместно.

многочисленных публикациях, выявлены в исследованиях социологической лаборатории КГУ, в опросах «Среднерусского консалтингового центра», проведенного по заказу московского представительства фонда имени Эберта, в том числе и в письменных интервью, неоднократно проводившихся авторами данной статьи [6; 7; 8; 9 и др.]. Общим выводом всех исследований является заметное преобладание региональной идентичности над общероссийской.

Постулируя формирование на территории Калининградской области особого этнокультурного феномена на основе выявления особенной калининградской идентичности, можно ли утверждать наличие специфической калининградской ментальности? Вопрос может быть сформулирован так: мы *действительно другие* или только *думаем,* что *другие*? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно развести два понятия: «идентичность» и «ментальность». Вопрос о калининградской идентичности многократно обсуждался в литературе, проводились социологические исследования, опросы, интервьюирования. Проблема калининградской ментальности изучена гораздо меньше.

Идентичность, по нашему глубокому убеждению, – не свойство, а отношение, оно ситуативно, изменчиво, разные уровни идентичности актуализируются в ответ на различные вызовы извне. Нужно отметить, что речь идет не об индивидуально-психологической идентичности (тождество человека самому себе), а именно о социокультурной, в процессе которой человек отождествляет себя с той или иной группой, различая «своих» и «чужих», растворяя свое «я» в коллективном «мы». Говоря об идентичности, мы ведем речь о процессе идентификации. Идентичность тесно связана с ментальностью, можно сказать, что она базируется на ней, но представляет собой иное, гораздо менее устойчивое образование, формирующееся под влиянием ситуации. Хорошо заметны изменения идентичности, происходящие на фоне политических кризисов. Так, югославский кризис подтолкнул актуализацию славянской идентичности у множества россиян, процесс расширения ЕС и проблемы транзита в

Калининградскую область и из нее резко усилили «российскость» калининградцев. Сошлемся здесь на мнение В. Малахова, признанного специалиста по данной проблематике. Характеризуя специфику этнической идентичности, он отмечает: «Место этнической идентичности в структуре личности может меняться. В одних условиях она не играет существенной роли или вообще не выражена, в другой выступает на первый план или даже доминирует, вытесняя иные идентификации индивида. Процессуальный и ситуативный характер этнической идентичности очевиден…. Самоидентификация индивидов с той или иной этнической группой зависит от целого ряда обстоятельств…. В любом случае, однако, активизация этнической идентичности связана не с «пробуждением» некой дремавшей в глубине индивидуального сознания способности, а с наличием ситуации, обусловливающей определенный тип поведения (в частности, коллективную солидарность по этническому признаку) [10, с. 79].

По мнению многих современных исследователей, идентичность содержит как поверхностный осознаваемый, так и глубинный неосознаваемый слой. «В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных компонента – *когнитивный* (знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков) и *аффективный* (чувство привязанности к группе, оценка ее качеств, отношение к членству в ней)» [3, с. 211]. Российский этнопсихолог Г.У. Солдатова считает важным компонентом идентичности *мифологичность*: «Ее главная опора – идея или миф об общих культуре, происхождении, истории» [13, с. 48].

Ментальность же – это глубинный уровень индивидуального и коллективного сознания, включающий и бессознательное; это совокупность готовностей, предрасположенностей индивида или социальной группы чувствовать, действовать и воспринимать мир соответствующим образом. Менталитет есть «общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая соз-

дает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-либо сообщества... Восприятие мира формируется в глубинах подсознания. Следовательно, менталитет – то общее, что рождается из природных данных и социально обусловленных компонентов и раскрывает представление человека о жизненном мире. Навыки осознания окружающего, мыслительные схемы, образные комплексы находят в менталитете свое культурное обнаружение» [11, с. 249 – 252]. Субъектами-носителями менталитета могут быть самые разные социальные общности и группы: национальные, этнические, региональные, политические и т. п., а также классы, слои, страты и т.п. Ментальность закрепляется в культурной картине мира, в хронотопе, в системе ценностей и представляет собой своеобразную глубинную коллективную память. Ментальность складывается под воздействием множества факторов, определяющих культурно-историческое развитие, и является одновременно и очень консервативным образованием, и достаточно пластичным, подверженным изменениям. В ней есть как стабильное «ставшее», так и подвижное «становящееся». «Ядром» ментальности – наиболее стабильной целостностью – являются ценности, которые в современном гуманитарном знании определяются как сложные, определенным образом сгруппированные принципы, придающие стройность и направленность разнообразным мотивам человеческого мышления и деятельности. Периферийные слои ментальности связаны с образной картиной мир, они представляют более пластичное и подвижное образование. На глубинном уровне сохраняются общенациональные архетипы, а на периферийном, поверхностном уровне под влиянием структур повседневности проявляются вариативные особенности. Они особенно заметны в стандартных, нормальных условиях. В случаях возрастания неопределенности, нестабильности, кризиса актуализируются глубинные слои ментальности. Это хорошо видно на примере калининградской ситуации, что мы покажем ниже.

С целью подтверждения приведенных мнений обратимся к имеющемуся у авторов эмпирическому материалу. Результаты

проведенного нами глубинного проективного интервьюирования учащихся старших классов лицея №49 и студентов калининградских вузов позволяют сделать вывод о достаточно заметном преобладании региональной идентичности над общенациональной[4]. Перед респондентами была поставлена задача: в свободной форме, письменно ответить на вопрос: «По отношению к какой социальной общности вы говорите «мы»: «мы – россияне», «мы – европейцы», «мы – калининградцы?». Можно было выбрать несколько вариантов. Более трети респондентов дали однозначный ответ о соотнесении себя именно с общностью калининградцев. Идентифицируя себя таким образом, участники исследования отмечали некие существенные отличия калининградцев как от европейцев, так и от россиян (на примере своего собственного опыта пребывания в других российских городах и общения с их жителями или, напротив, мнения приезжих россиян о Калининграде и калининградцах).

Примерно пятая часть опрошенных идентифицировали себя как калининградцев, являющихся одновременно и россиянами и европейцами. Калининградская специфика видится данной группе как некий синтез «русскости» и «европеистости»: «мы являемся европейскими россиянами, живущими в Калининграде», «я – калининградец с русскими корнями, уважающий европейскую культуру», «я – калининградский русский европеец» – таковы варианты ответов. Таким образом, более половины опрошенных так или иначе фиксирует свою калининградскую идентичность и в том или ином виде отмечают культурную специфичность калининградской субкультуры.

Только четверть респондентов строго определяют себя как россиян, обнаруживая в себе черты российской русской ментальности, утверждают преобладание общенациональной специфики над региональной калининградской. Эти данные совпадают с результатами независимого исследования, выполненного по заказу фонда Эберта.

---

[4] Эти данные подтверждаются результатами многих других исследований.

Около 7 % опрошенных считают себя европейцами, соотнося особенности своего характера, образа жизни, облика Калининграда с имеющимися у них представлениями о Европе. Однако, если приплюсовать сюда 20 % реципиентов, которые считают себя одновременно россиянами, калининградцами и европейцами, получается, что почти треть опрошенных так или иначе соотносит себя с Европой. При более подробном рассмотрении такая идентификация оказывается декларируемой, скорее желаемой, чем действительной, продиктованной стремлением походить на благополучную стабильную Европу.

Обнаружение феномена «декларируемой идентичности», скорее желаемой, чем действительной, укрепляет нашу убежденность в ситуативном характере идентичности, в том, что самоидентификация индивидов с той или иной общностью зависит от целого ряда обстоятельств. Она формируется, закрепляется или трансформируется в ходе социального взаимодействия.

Здесь уместно будет обратиться к феномену калининградской *ментальности*, причем проанализировать как периферийные, подвижные, так и центральные, стабильные слои. На уровне образной картины мира специфика калининградского менталитета проявляется достаточно ярко в особенностях восприятия ландшафта, пространства и времени. Коренному калининградцу присуще иное, чем жителю центральной России, Сибири, восприятие социального пространства: нет ощущения огромной страны, ее бескрайних бесконечных просторов, преобладает более дробный, европейский масштаб с густой сетью дорог, с более плотным расположением населенных пунктов. «Поэтика русских изб» мало понятна молодому калининградцу, никогда не бывавшему (или изредка бывавшему) в российской глубинке. Она может проявиться как следствие опосредованного влияния книжной культуры, а не непосредственного впечатления от окружающего ландшафта. Не золоченые маковки русских церквей и башни колоколен, а острые шпили

кирпичной готики, черепичные высокие кровли домов, липовые аллеи вдоль дорог – неотъемлемая часть калининградского культурного ландшафта – стали составной частью образной картины мира жителя области

Периферийные слои менталитета ярко демонстрируют калининградскую специфику. По-иному обстоит дело, когда мы обращаемся к глубинным ценностным структурам менталитета. Именно ценности лежат в основе конкретных поведенческих практик личности и социальных групп.

Выявление ценностных ориентаций – достаточно сложная задача. Прямые вопросы «не работают», так как у реципиента появляется желание ответить «правильно», «как положено». К тому же ценности только частично осознаются индивидом, а значительная часть существует на бессознательном уровне. Авторами была предпринята попытка выявить ценности права и особенностей правосознания у учащихся Калининградского лицея №49 (к слову сказать, это были учащиеся классов с юридической и политологической специализацией).

Чуть более половины опрошенных твердо считают наличие права необходимым для жизни всех слоев общества. При этом законы у значительной части участников опроса ассоциируются лишь с ограничением прав и свобод граждан и наказанием («закон необходим, чтобы карать преступника и защищать хороших людей», «хорошие люди подчиняются законам, потому они и хорошие» и т.д.). Явно доминирует понимание права как системы ограничений и наказаний.

Часть опрошенных (38%) ответили, что их родителям или другим близким родственникам приходилось защищать свои права в суде. Обращение в суд считают наиболее действенным способом защиты своих интересов (чести, достоинства, имущества) только 26% учащихся, 30% затруднились с ответом, 44% назвали более действенными иные способы (переговоры, достижение соглашения), примерно половина из которых – силовые («драка», «месть», «обращение к криминальным структурам» и т.д.). Напомним, что респонденты – учащиеся классов с юридической и политологической специализацией,

владеющие основами правовых знаний. Однако даже у них ценность права не осознается как очень значимая. В целом отношение к праву и его роли в межсубъектном взаимодействии выглядит вполне российским.

В определении символов современной России учащиеся показали себя ярко выраженными государственниками, назвав в числе главных символов флаг (31 %), гимн (26 %), герб (18 %), В.В. Путина (15 %), разруху, упадок (11 %). Россия как Родина, отечество, культура в сознании школьников отождествляется с Россией-государством. Эта особенность российской ментальности многократно отмечалась многими исследователями на протяжении столетий.

Достаточно симптоматичны ответы на вопрос о герое нашего времени: 53 % затруднились с ответом или утверждали, что таковых просто нет; из оставшихся 47 % отвечавших примерно одна треть (15,5 %) назвала героем нашего времени В.В. Путина; далее с большим отрывом следуют: В. Бусловский[5] (9,5 %), Саддам Хусейн (9,5 %).

Сходная ситуация с ответом на вопрос об имеющихся авторитетах. Примерно у половины учащихся авторитетом пользуются родители и другие родственники. Не имеют авторитета вообще или считают таковым самого себя – 35 %. Из оставшихся ответов обращают на себя внимание имена Сталина, Путина (по 4,5 %), Хрущева, Бисмарка. Тенденция выявляется достаточно ярко. Кроме политиков и государственных деятелей названы «сильные люди», В. Цой.

В целом ответы получились очень «российскими». Интересно сопоставить эти данные с результатами исследования, упомянутого выше «Среднерусского консалтингового центра». Исследуя очень разные регионы (Калининградская область, Приморский край и Кировская область) социологи получили достаточно однородную картину:

---

[5] Командир Калининградского ОМОНа, погибший в Чечне, имя которого носит лицей №49.

• Повсеместно преобладает региональная идентичность над национальной.

• Ценность патриотизма (любовь к Родине, вера в будущее России, готовность защищать ее).

• Надежды на решение проблем связывают не с региональными властями, а с центральной властью – Президентом и Правительством

В целом исследования показали, что жители трех отдаленных друг от друга регионов, несмотря на все существующие отличия, имеют много общего в ценностных установках, в идеологическим подходах, что можно было бы назвать *некоей «российскостью».* Можно утверждать, что население, проживающее на огромной территории России, объединяет не просто общая государственная принадлежность, но некие глубинные ценностные структуры ментальности, стереотипы мышления, чувствования, поведения. Они же достаточно четко отличают «нас» от «них». Здесь уместным будет ссылка на очень интересный опыт лицея №1 г. Балтийска Калининградской области [12]. В рамках программы международного сотрудничества были проведены параллельные опросы школьников г. Балтийска и учащихся шведских школ об избирательной системе, об отношении к институтам гражданского общества, к закону, к этническим меньшинствам и т.д. Авторы в очередной раз получили возможность убедиться в заметном различии ценностных установок, стереотипов мышления и поведения. Были опрошены люди одного поколения, слушающие одну и ту же музыку, в равной степени увлекающиеся компьютерами и т.д., но представляющие разные культурные традиции, являющиеся носителями разной ментальности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если на периферийном поверхностном уровне ментальности под влиянием структур повседневности формируются собственно калининградские черты, то на глубинном ценностном уровне преобладают общенациональные особенности. Имеющиеся на уровне обыденного сознания и фиксируемые в процессе иден-

тификации представления о «европейскости» калининградцев на деле скорее оказываются мифом (вспомним о том, что мифологичность является неотъемлемой составляющей идентичности!). Общероссийские ценности, общероссийская ментальность являются преобладающими. Мы, калининградцы, конечно, *другие,* как впрочем, *другими* являются и москвичи, петербуржцы, жители Приморья, но, по-видимому, мы несколько *менее другие*, чем себе это представляем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Малахов В.* Неудобства с идентичностью // *Малахов В.* «Скромное обаяние расизма» и другие статьи. М., 2001.

2. *Андрейчук Н.В., Гаврилина Л.М.* Инкультурация личности в условиях калининградского социума // Калининградский социум в европейском измерении. Калининград: Изд-во КГУ, 2002.

3. *Стефаненко Т.Г.* Этнопсихология. М., 1999.

4. *Гумилев Л.Н.* Этногенез и биосфера Земли. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.

5. *Русские.* М.: Наука, 1998.

6. *Попадин А.Н.* Местное время: прогулки по Калининграду. Калининград,1998.

7. *Чабанова А.В.* Дифференцированность калининградского социума (по итогам социологического обследования) // Калининградский социум в европейском измерении. Калининград: Изд-во КГУ, 2002.

8. *Кретинин Г.В.* Проблема идентичности калининградцев.// Калининградский социум в европейском измерении. Калининград: Изд-во КГУ, 2002.

9. *Новости* агентства Росбалт, 04/01/2003 (www.rosbalt.ru).

10. *Новая* философская энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль, 2001. Т. 2.

11. *Культурология*. XX век. Энциклопедия: В 2 т. СПб.: Университетская книга, 1998.

12. *Барткевич Т.И.* Из опыта международного сотрудничества лицея №1 г. Балтийска //Образование для гражданского общества: качество и эффективность: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Калининград, 2003 (в печати).

13. *Солдатова Г.У.* Психология межэтнической напряженности. М., 1998.

А.В. Алимпиева

КАЛИНИНГРАДЦЫ: ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В контексте обсуждения вопросов европейской и российской идентичности интерес представляет эмпирическое изучение социальной идентичности жителей отдельных российских регионов, тем более такого специфического по своему геополитическому положению, как Калининградская область.

Нами была предпринята попытка провести подобное исследование и получить конкретный эмпирический материал, позволяющий составить представление о структуре и характере социальных идентификаций жителей нашей области.

При этом мы понимаем социальную идентичность как степень осознания своей принадлежности к некой социальной общности, группе, как форму самоописания, ярлык, который индивид использует для оценки своей отнесенности к внешнему миру.

Учитывая объективную промежуточность положения региона в плоскости Европа – Россия, нас интересовала степень, в которой те или иные виды социальной идентичности (в том числе идентификации с Россией и Европой) являются для калининградцев актуальными. Это открывало возможность лучшего понимания сегодняшней жизни особой российской области, прогнозирования перспектив ее будущего развития.

В задачи исследования входило определение объектов идентификации населения региона и степени идентификации жителей региона с различными социальными общностями, включая социально-территориальные, выявление взаимосвязи идентификации с различными социальными характеристиками респондентов.

Проведенное исследование, основным методом которого был социологический опрос, позволило получить следующие результаты.

В связи со специфическим (в значительной степени мигрантским) характером формирования калининградского социума (чуть более половины населения региона родились здесь и лишь около 80 % из них прожили здесь всю жизнь), нас интересовала оценка участниками исследования степени своей укорененности на территории области.

Почти все респонденты, родившиеся в области, считают себя ее коренными жителями. Среди родившихся за ее пределами доля тех, кто в той или иной степени считает себя коренным жителем региона, существенно меньше, но все же не столь мала – 51,8 %.

На ощущение себя коренным жителем области влияет конкретная биографическая ситуация самого жителя. Среди тех, кто родился за пределами области, но провел здесь детство, доля респондентов, в той или иной степени считающих себя коренными жителями, составляет более 2/3, среди попавших в регион взрослыми она снижается до 1/3, среди мигрантов 1991 – 1995 гг. – до ¼, наконец, среди мигрантов 1996 – 2001 гг. она составляет только 12,5 %.

Наиболее велика доля людей с подобными ощущениями (почти треть) среди мигрантов последних десяти лет. Однако с ростом срока проживания мигрантов на территории области увеличивается доля тех из них, кто считает себя коренным жителем области, и уменьшается доля тех, кто ощущает себя переселенцем.

Поскольку социальная идентичность и ее виды определяются теми социальными группами, принадлежность к которым имеет ту или иную ценность для социума, то в ходе исследования мы пытались выявить, с какими из множества возможных общностей и групп (близкие, друзья, люди той же национальности, возраста, пола, достатка, рода деятельности и т.д.) и в какой степени ощущают близость жители области.

Выяснилось, что чем многочисленнее группа, тем ниже уровень идентификации с ней респондентов: так, духовную близость с семьей часто ощущают 80,7 % опрошен-

ных, с друзьями – 62,1 %, со всеми людьми на Земле – только 7,6 % опрошенных.

Какова же степень идентификации респондентов с социально-территориальными группами по сравнению друг с другом, а также социальными общностями и группами иного типа? Согласно полученным данным, часто ощущают духовную близость с людьми, проживающими в одном с ними городе, селе, 29,5 % респондентов, с россиянами – 25,3 %. Оба показателя существенно ниже аналогичного по таким группам, как семья и друзья, люди того же пола (46,2 %), возраста (40,5 %), рода занятий (40,5 %), национальности (34,5 %), взглядов (35,2 %) и даже достатка (31,1 %). Еще реже калининградцы идентифицируют себя с таким неопределенным социальным образованием, как граждане СНГ (9,1 %), с несуществующей общностью «советский народ» (9,7 %), а также с трудно представимым сообществом всех людей на Земле (7,6 %). Таким образом, локальная общность и страна в целом занимают периферийные позиции в иерархии социальных общностей, с которыми респонденты себя идентифицируют.

Интересно, что уроженцы Калининградской области немногим реже (22,7 %), чем в среднем по выборке, идентифицируют себя с россиянами; гораздо выше этот показатель у тех респондентов, чьей родиной являются республики Средней Азии (более 50 %), у уроженцев российских регионов данный показатель достигает 30 %. Уроженцы Калининграда и других российских территорий реже идентифицируют себя с советским народом (9,7 и 7,5 % соответственно), чем «представители» других бывших союзных республик (около 15 %).

Ответы респондентов на вопрос: «Принадлежность к какой из следующих географических групп Вы ощущаете в первую очередь?» – мы посчитали, хоть и с оговорками, возможным сравнить с теми, которые давали на подобный вопрос участники международного (1990 г.) и всероссийского опросов (1994 г.) [2, с. 282 – 285] (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная структура идентификаций (% от числа опрошенных)

Место проведения опроса	Локальная общность (город, местность)	Регион (область)	Страна как целое	Европа	Мир как целое	Не знаю
Калининградская область, 2001 г.	32,2	28,0	24,6	2,6	6,6	5,5
Россия, 1994 г.	17,0	17,0	49,0	2,0	11,0	4,0
США	36,7	12,8	30,2	3,1	15,4	1,9
Канада	30,2	15,9	38,9	2,8	9,2	2,5
Великобритания	38,8	16,1	30,9	2,5	9,2	2,5
Дания	51,7	21,9	21,6	1,6	2,0	1,3
Франция	40,0	13,6	27,5	7,8	9,8	1,3
Западная Германия	33,9	29,0	13,6	5,2	6,2	3,4
Италия	40,6	11,0	27,5	4,8	14,5	1,5
Норвегия	68,4	13,0	14,0	1,2	2,3	1,1
Швеция	55,6	12,4	24,4	3,2	3,2	1,2
Польша	35,0	12,0	45,0	4,0	2,0	1,0
Восточная Германия	25,0	27,0	37,0	5,0	4,0	1,0
Чехия	38,0	17,0	35,0	2,0	7,0	1,0

Как видно из таблицы 1, локальная общность в качестве объекта идентификации выбирается нашими респондентами примерно в трети случаев. Далее следуют варианты «Я – житель Калининградской области» и «Я – россиянин» (соответственно 28,0 и 24,6%). Несмотря на то, что различия между числом выборов невелико, можно говорить о предпочтениях одних объектов идентификации по сравнению с другими. И сложившаяся последовательность предпочтений явно отличается от данных всероссийского опроса (1994 г.), согласно которым почти половина респондентов определяет себя в первую очередь как жителей России, менее чем пятая часть опрошенных идентифицирует себя с регионом и локальной общностью.

По сравнению (при всей его условности) с международным исследованием 1990 г., наши респонденты выбирали вариант «локальная общность» реже, а регион несколько чаще, чем опрошенные жители многих из стран-участниц.

Структура идентификаций различается по возрастным группам. Молодежь до 23 лет в первую очередь выбирают вариант «локальная общность» (35 %). Идентификация со страной в целом характерна только для 15,5 % этой подгруппы.

В целом по выборке незначительна доля респондентов, идентифицирующих себя с Европой (2,6 %), причем все выборы варианта «европеец» приходятся на людей в возрасте до 50 лет. Наибольшее число выбравших вариант «гражданин мира» – среди респондентов в возрасте до 30 лет.

Ответы, полученные на вопрос анкеты: «Какая из перечисленных групп скорее относится к Вам как категории «мы»?», позволяют делать вывод о некоторой противоречивости системы социальных идентификаций жителей региона. Отвечая на вопрос, респонденты имели возможность сделать три выбора из вариантов ответов в порядке ослабевания идентификации (табл. 2).

Таблица 2

Выбор «мы»-группы
(% от числа опрошенных)

Какая из перечисленных групп скорее относится к Вам как категории «мы»?	Выбор			Общее число выборов любой очередности
	1-й	2-й	3-й	
Россияне	45,7	24,3	7,3	77,3
Калининградцы	27,7	42,6	7,6	77,8
Представители одной с Вами национальности	11,0	3,9	8,4	23,2
Славяне	5,7	7,8	17,5	31,1
Европейцы	2,6	3,7	16,4	22,7
Затрудняюсь ответить	7,4	17,8	42,8	

По первому выбору лидирует вариант ответа «россияне» (45,7 % ответов), по второму – «калининградцы» (42,6 %). Однако по совокупности выборов оба варианта, очевидно, занимают особые позиции по сравнению с остальными. Третья позиция в списке «мы»-групп у варианта «славяне».

Явные различия в ответах на вопрос о «мы»-группах наблюдаются по возрастным группам. Особенно интересны данные по первому выбору. Самые большие доли респондентов, выбравших вариант «россияне», среди возрастных групп 51 – 60 лет (60 %), старше 60 лет (63,2 %), 24 – 30 лет (51,0 %).

В ответах на вопрос о «мы»-группах нет серьезных различий между жителями населенных пунктов разного типа, между уроженцами Калининградской области и респондентами, родившимися за ее пределами. Зато обнаруживаются расхождения в ответах респондентов, переселившихся в регион в последние десять лет, и тех, кто живет здесь дольше (назовем их условно коренными жителями области). Делая первый выбор, мигранты последних лет отдают предпочтение варианту «россияне» (39,5 %), практически игнорируя вариант «калининградцы» (10,5 %). Соответственно среди них в два раза больше доля тех, кто выбрал в качестве мы-группы представителей той же с ними национальности, а также славян.

В ходе опроса мы выясняли степень гордости респондентов в связи с их принадлежностью к той или иной социальной общности. Участникам опроса было предложено оценить, в какой степени они гордятся своей национальностью, а также тем, что являются россиянами и жителями Калининградской области. Различия в том, насколько респонденты гордятся принадлежностью к этнической общности, региону и стране в целом, не столь значительны и касаются скорее степени гордости. Доля вариантов ответов, характеризующих высокую и очень высокую степень гордости, ниже среди ответов на вопрос: «В какой степени Вы гордитесь тем, что Вы россиянин?» – (54,5 %) по сравнению с аналогичным о проживании в Калининградской области (65,2 %) (табл. 3).

Таблица 3

Гордость в связи с принадлежностью к социальным общностям (% от числа опрошенных)

Вариант ответа	Совсем не горжусь	Не очень горжусь	Весьма горжусь	Очень горжусь	Затрудняюсь ответить
В какой степени Вы гордитесь …					
… своей национальностью	7,8	18,2	35,9	24,1	13,9
… тем, что Вы россиянин	6,8	24,7	36,6	17,9	13,9
… тем, что Вы житель Калининградской области	5,5	17,8	42,7	22,5	11,5

Наиболее сильно гордятся тем, что они россияне, уроженцы российских регионов (29,1% ответов «весьма горжусь» и 30,4% – «очень горжусь», что в сумме составляет 69,4%). У уроженцев Калининградской области гордость статусом россиян ниже как в количественном, так и в качественном смысле: сумма долей ответов «весьма горжусь» и «очень горжусь» составляет 55,3%, на ответ «очень горжусь» приходится 15,3% ответов, то есть в два раза меньше, чем по подвыборке урожденных россиян. Еще ниже показатели по подгруппе уроженцев нероссийских регионов: сумма положительных ответов составляет здесь 46,4%, доля ответов «очень горжусь» – 11%.

Есть отличия в степени гордости статусом жителя Калининградской области между группами респондентов, проживающих в области давно или с рождения, и переселившихся сюда в течение последних лет. Мигрантов, гордящихся проживанием в области, меньше, чем «коренных» жителей (57,9 против 66%), однако они гордятся этим в большей степени (среди мигрантов последнего десятилетия доля выбравших ответ «очень горжусь» составляет около трети, тогда как среди тех, кто проживает в области с давнего времени, – около одной пятой).

Подводя итоги эмпирического изучения проблемы социальной идентичности жителей калининградского региона, можно сделать следующие выводы.

Социальная идентификация со страной в целом и регионом проживания не являются в большей степени актуальными для калининградцев по сравнению с другими видами (идентификацией с первичными группами, общностями людей, имеющих общие признаки (пол, возраст, род занятий и т.п.)).

Основными социально-территориальными «мы»-группами для жителей региона являются «россияне» и «калининградцы», однако для «новых» переселенцев идентификация с калининградцами является сравнительно менее актуальной. В то же время продолжительность проживания индивида на территории региона положительно влияет на степень отождествления себя с региональным социумом.

Идентификация с Европой занимает наиболее низкие места среди прочих видов социально-территориальной идентичности. Возможно, это связано с обнаруженными в ходе исследования ценностными расхождениями между европейцами (как бы они друг от друга не отличались), с одной стороны, и калининградцами-россиянами – с другой [1].

Таким образом, говоря о степени актуальности тех или иных видов идентичностей, необходимо учитывать серьезную дифференциацию в этом плане внутри регионального социума, разнородность, неопределенность и порой противоречивость в структуре идентификаций его жителей.

В дальнейшем мы планируем продолжить и углубить изучение проблемы социальной идентичности населения региона, в том числе сравнительно с другими регионами России и соседними европейскими странами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Калининградский* социум в европейском контексте: Сб. науч. тр. / Под ред. А.П. Клемешева. Калининград: Изд-во КГУ, 2002.

2. *Рукавишников В., Халман Л., Эстер П.* Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М.: Совпадение, 1998.

IV

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ: РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

А.И. Макурин

США И РОССИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА В НАЧАЛЕ XX в.

Всестороннее изучение истории русско-американских отношений невозможно в полной мере без рассмотрения такого важного и неотъемлемого их аспекта, как национальные имиджи. История становления и развития двухсторонних контактов США и России насчитывает уже более двух столетий, и на протяжении всего этого времени происходил процесс формирования их образов в представлении народов обеих стран. Этот процесс нельзя считать завершенным и теперь, поскольку каждая историческая эпоха накладывает определенный отпечаток на характер восприятия народами друг друга и вносит коррективы в уже существующий образ. Поэтому его не следует рассматривать как статичное явление. Изменение международной обстановки и внутренней ситуации в США или России на различных этапах исторического развития вело к переоценке отношения к другой стране, другому народу, а следовательно, – к трансформации образа.

Любой образ имеет сложную структуру, так как складывается из множества компонентов, связанных с той или иной стороной жизни общества, народа и государства. Это, прежде всего, такие сферы, как культура, идеология, общество, внутренняя и внешняя политики, экономика, а также национальный характер. Каждый этап исторического развития страны выдвигает на первое место те или иные социально-экономические и политические проблемы. В этом смысле очень интересной и важной эпохой в истории отношений между США и

Россией стало начало XX в. Данный этап характеризовался рядом специфических внешне- и внутриполитических обстоятельств и факторов в развитии двух стран. Русско-американские отношения складывались в условиях неблагоприятной для России внешнеполитической ситуации (русско-японской войны) и сложнейшего внутреннего кризиса (революции 1905 – 1907 гг.).

Между США и Россией не лучшим образом развивались их политические отношения, которые были омрачены враждебной позицией администрации президента Т. Рузвельта и американской прессы во время русско-японской войны, а также противоречиями вокруг фактов преследования евреев в России. Идеологи внешней политики США считали, что распространение влияния России на Дальнем Востоке несет угрозу экономическим и политическим интересам США. Выступая за нейтрализацию влияния России на Дальнем Востоке, они аргументировали свою позицию тем, что Россия не является цивилизованной страной и поэтому не может играть цивилизаторскую роль на Востоке. В этом американскую общественность активно убеждали политические идеологи, стоявшие близко к руководству Америки и оказывавшие влияние на формирование ее внешнеполитического курса. В складывающихся условиях недемократический режим, архаичность социальной структуры и экономическая неразвитость служили дополнительным аргументом против России. Война на Дальнем Востоке и первая российская революция послужили сильным толчком к тому, чтобы подробнее изучить условия внутреннего развития Российской империи или показать «порочность» ее политического режима.

Идеологическая заданность в подходах к России, а значит, необъективность в оценках ее социального и экономического развития в полной мере проявились в рассматриваемый отрезок времени и в американской периодической печати. Она неизбежно оказывалась в плену у подобных установок. Эти обстоятельства послужили причиной формирования преимущественно негативного взгляда американцев на Россию. Сохра-

нение самодержавия в ближайшем будущем не внушало большинству американских публицистов оптимизма в отношении дальнейшего социального положения русского народа и экономического развития страны.

Атмосфера недружелюбия, создававшаяся в Америке в отношении России, критика по поводу ее внешней и внутренней политики вызывали ответную реакцию в русской прессе. Публицисты стали чаще, чем прежде, обращать внимание на отрицательные стороны жизни американского общества и государства. Усилилось критическое восприятие Соединенных Штатов, особенно таких характерных черт общественно-политической и экономической жизни американского народа, как коррупция во власти, недостаточное развитие системы социальной защиты, монополизация промышленности и многое др. Наиболее резкая критика раздавалась со стороны представителей радикальных кругов как консервативного, так и леворадикального толка.

Тем не менее в отличие от США в России не сформировалось столь явно негативного образа Соединенных Штатов. Отношение к ним строилось на основе представлений о демократичности социального и политического устройства, о возможности приобретения реальной свободы, о существовании широких экономических возможностей. Поэтому многие потенциальные эмигранты смотрели на Америку как на страну, где можно улучшить свое социальное положение и экономические условия своего существования.

Формирование представлений американских и русских авторов происходило под влиянием определенных течений общественной, политической и философской мысли. Заметную роль в данном процессе как в России, так и в Соединенных Штатах сыграло социалистическое учение и его последователи в журналистике обеих стран. Существенное воздействие на становление позиций многих авторов в американской прессе оказало движение «прогрессивного» реформизма. Влияние либеральной мысли не ослабевало в обеих странах. Экономисты и другие русские либеральные ученые внесли значитель-

ный вклад в изучение особенностей экономического развития Соединенных Штатов. Ими были созданы исследовательские труды, подводившие итоги развития этой страны за последние десятилетия XIX и начала XX в. и обобщавшие в целом ее исторический опыт. В то же время в США не было создано ни одного подобного фундаментального труда о России, если не считать очерков публицистического характера.

Данные факторы и обстоятельства оказали как прямое, так и косвенное воздействие на характер взаимного восприятия русских и американцев и определили новый этап в процессе формирования их представлений друг о друге. Таким образом, были предопределены ведущие темы и основная проблематика американской периодической печати и публицистики о России и российской печати – о США. В обеих странах проблемы социального и экономического развития оказались наиболее злободневными и актуальными. В сфере социального развития России для американской общественной мысли интересными и существенными представлялись вопросы о положении крестьянства и промышленных рабочих, условия жизни и труда которые они описывали до мельчайших подробностей. Американцев интересовала русская общинная система, социальный статус различных социальных групп и прослоек, в том числе положение женщин. В русской прессе также поднимались вопросы о положении американского рабочего класса, условиях труда и быта промышленных рабочих. Существенное место заняли вопросы об иммиграции, положении цветного населения и социальном статусе женщин. Это далеко не полный перечень вопросов, которые можно было бы выделить как в публикациях американской прессы и печати о США, так и американской – о России.

В сфере экономического развития американская общественная и экономическая мысль проявила интерес к общим хозяйственным условиям в Российской империи. Наиболее важным вопросом в указанные годы оказалось сложное финансовое положение страны после русско-японской войны. Не в меньшей степени американцев интересовала банковская сис-

тема и политика в области железнодорожного строительства. Давались оценки протекционистской политики, а также положению в сельском хозяйстве. В свою очередь, в русской прессе обсуждались вопросы о причинах и факторах ускоренного промышленного развития Соединенных Штатов. Высказывалось отношение к процессу монополизации американской промышленности, изучался опыт функционирования железнодорожного транспорта и банковской системы. Однако наиболее важным направлением в процессе знакомства с особенностями экономического развития США стало исследование американского аграрного опыта.

Американские и русские публицисты, а также авторы исследовательских работ по экономике имели возможность не только оценить экономический потенциал и социальные условия, но и приобрести определенный практический опыт в ходе знакомства с другой страной. Особенно значимым такой опыт был для русских специалистов. Американские публицисты довольно резко критиковали социально-экономическую политику царизма. Давая многие оценки с моральных позиций, они часто недопонимали некоторые черты и особенности социального порядка в России.

Восприятие американских общественных норм и основных черт экономического развития США русской общественной мыслью также не было абсолютно адекватным. Очевидные экономические успехи Соединенных Штатов породили определенный культ и поклонение перед американскими порядками среди представителей либеральной общественности и хозяйственных специалистов. Это привело к бездумному копированию и перенесению на русскую почву американского экономического опыта и использованию технических средств без учета разницы в социально-экономическом укладе двух стран. Образ России и США в глазах народов двух стран слагался из множества элементов, среди которых в указанный период преобладали вопросы социально-экономического развития.

В целом в рассматриваемый период значительно увеличился объем литературы о Соединенных Штатах, и в ней про-

изошли существенные качественные изменения, проявившиеся в структурной перестройке информации об этой стране. Возросла доля научно-популярной и научной литературы, содержание которой основывалось в большей степени на материалах исследовательского характера и на официальных источниках. Помимо работ общего плана в массовой печати продолжало возрастать количество узкоспециализированных публикаций по различным отраслям знаний (науки, техники, сельского хозяйства, медицины и т.п.). Это стало возможным благодаря ряду обстоятельств. Обеспечивалось регулярное поступление иностранной литературы, в том числе периодических изданий различного характера, в российские библиотеки. Русские газеты и журналы нередко располагали собственными корреспондентами в США либо сотрудниками, которые регулярно публиковались в отечественной прессе. Наконец, различные министерства и ведомства командировали собственных специалистов для изучения опыта американской промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Возможность побывать в Соединенных Штатах таким образом и познакомиться с современными достижениями техники и особенно сельского хозяйства получили П.Д. Кандауров, В.В. Салов, Е.Е. Скорняков, Н.М. Тулайков. Инициатива подобного сотрудничества с Америкой исходила не только от государства, но и от местных земских организаций. Ярким примером может служить сельскохозяйственная агентура Екатеринославского губернского земства, сотрудники которой внесли весомый вклад в создание специальной литературы по аграрным вопросам.

Как в России, так и в США в рассматриваемый период появился целый ряд исследователей и публицистов, которые внесли значительный вклад в изучение США и России. Это в первую очередь «джентльмены-социалисты» (У.И. Уоллинг, А. Буллард, Л. Скотт, С.Н. Харпер, К. Дерланд, Э. Пул), работы которых составляли самую значимую долю среди публицистических материалов американской печати о России. С другой стороны, можно назвать немало имен русских авторов,

чья публицистическая деятельность была посвящена полностью или частично Соединенным Штатам. Особо следует отметить работы П.А. Тверского, И.А. Гурвича, И.Х. Озерова, И.М. Рубинова, Г.А. Де Воллана, И.Б. Розена. Однако их статьи и книги утопали в море разнообразных публикаций и материалов о США, появлявшихся в массовой печати и не всегда адекватно отражавших действительность. Кроме этих публицистов свои наблюдения и в США, и в России публиковали дипломаты, государственные и общественные деятели.

Вследствие перечисленных изменений возрастало количество источников, поставлявших достоверную и регулярную информацию, а знания о Соединенных Штатах, распространяемые в печати и литературе, углублялись и уже не являлись поверхностными. Рассматриваемые изменения очень наглядно проявились в период 1904 – 1909 гг. Анализ имеющихся источников показывает, что за эти годы произошла существенная эволюция в представлении русских о социальном и экономическом развитии США.

В этом отношении американская печать отличалась от российской и не содержала столь глубокой и обширной информации о России. Тем не менее за тот же период американская литература о ней также совершила значительный шаг вперед. Она обогащалась переведенными на английский язык работами иностранных, в том числе русских, авторов. Специфическую роль в складывании представлений о России сыграла американская журналистика, представители которой проявили особую активность в годы революции 1905 – 1907 гг. Результатом деятельности ряда журналистов в России, выполнявших, как правило, обязанности корреспондентов нескольких издательств, стали крупные публицистические труды.

Подводя итог всему сказанному выше, необходимо подчеркнуть, что русская общественная мысль проявила более глубокий, всесторонний и устойчивый интерес к Соединенным Штатам, чем американская – к России. Вместе с тем не следует забывать, что интерес публицистов, ученых и «читающей публики» в России не ограничивался только Соеди-

ненными Штатами. Периодически выходило огромное количество материалов о других успешно развивающихся странах мира, в частности о Канаде и Австралии. Огромный интерес вызывала также история и современное социальное и экономическое развитие европейских стран, а также опыт функционирования их политических институтов. Традиция сравнивать себя с внешним миром или противопоставлять себя ему была характерна для философской и для всей общественной мысли России. В условиях модернизации, когда страна была вынуждена догонять промышленно более развитые государства Европы и Америку, интерес к их опыту возрастал. В то же время этот интерес не оставался односторонним, поскольку Россия также привлекала внимание за океаном.

В.Т. Юнгблюд

1945 ГОД: НОВЫЕ ОБРАЗЫ МИРА ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ США

В истории XX века 1945 год стал рубежом, отделившим войну от мира, трудное, но в целом плодотворное сотрудничество СССР, США и Великобритании от последующей глобальной конфронтации, неупорядоченное состояние миросистемы, вызванное крушением Версальско-Вашингтонских договоренностей, от жесткой двухполюсной конструкции. Перемены 1945 года носили глобальный характер, они коснулись всех континентов, качественно изменили ситуацию в мировой экономике, заставили целые народы и государства по-новому взглянуть на свое место в формирующейся системе международных отношений. С завершением войны Соединенные Штаты Америки превратились в одного из ведущих субъектов международной жизни с новыми, ранее не свойственными им функциями, амбициями и, следовательно, с новым пониманием мирового порядка и своего места в нем.

Традиционно изменение позиций США на мировой арене после завершения Второй мировой войны оценивалось в контексте генезиса «холодной войны» с выделением основных параметров этого явления, определением его хронологических рамок, географических локализаций и сущностных характеристик. Несмотря на интенсивность дискуссий последних лет, проблема происхождения «холодной войны» остается актуальной отчасти из-за закрытости некоторых архивных материалов, отчасти из-за того, что по-прежнему слабо изученным остается обширный комплекс проблем, имеющих отношение к изменениям, происходившим в общественном сознании американцев в 1945 году [7].

Образы мира, запечатленные в сознании американских руководителей, экспертов, специалистов в области политических наук и международного права, могут рассматриваться в качестве одной из отправных точек при анализе истории США второй половины 1940-х годов и в последующие десятилетия. Образ как зафиксированное знание, коллективный и относительно устойчивый вариант представлений об определенном объекте [2, с. 24] формируется под воздействием многих факторов. Когда речь идет о таком сложном и многомерном объекте, как послевоенный мир, то среди основных формирующих факторов следует назвать общее состояние международных отношений, психологический настрой людей, направленность пропаганды и наличие харизматического лидера, способного донести собственное понимание объекта не только до своего ближайшего окружения, но и до общества в целом. Значительную роль играет также исторический опыт, в процессе которого накапливается оценочный инструментарий, позволяющий формировать определения новых состояний объекта, собственно, и являющихся рациональным выражением фиксированного знания о мире.

Применительно к 1945 году исследователи не раз обращались к анализу образов, выработанных сознанием американцев. Как правило, речь шла об образе Советского Союза, который стремительно эволюционировал, превращаясь из боевого

союзника в угрозу №1, потенциального противника в возможной будущей войне. Для понимания сути происходивших в американском сознании перемен не менее важным является анализ «образа мира». Не следует забывать о том, что завершившаяся в 1945 году война была мировой, к ее исходу предметом первоочередной озабоченности руководства страны стали выработка схем мирового устройства, а также проблема глобального лидерства. Следовательно, доминирующий образ мира и должен был в тех обстоятельствах стать отправной точкой для понимания национального интереса, выявления реальных и потенциальных угроз и их иерархии.

Как воспринимался мир американцами? От ответа на этот вопрос зависело и конкретное внешнеполитическое планирование, и психологическое состояние нации. Произошедшая с Соединенными Штатами к 1945 году мутация была поистине удивительной. От добровольной изоляции 1920 – 1930-х годов (даже если признать, что в отдельные моменты она была скорее риторической, чем подлинной) к сверхдержаве, согласившейся признать ответственность за все происходящее далеко за ее пределами, переход осуществился довольно быстро. Возможно, наиболее удивительным компонентом этого перехода стала новая мировоззренческая парадигма, оформившаяся к исходу войны.

Иммануэль Валлерстайн резонно заметил, что, «несмотря на длительную историю попыток США рассматривать себя как нечто удаленное от остального мира, их самоопределение всегда осуществлялось в мировых понятиях» [1, с. 267]. Это весьма меткое наблюдение побуждает к вопросу: коль скоро свое внутреннее состояние американцы привыкли оценивать в категориях космополитических, то в каких же смысловых и образных дефинициях они оценивали мир в целом? Что давал им такой подход в плане идентификации своего национального «Я»? Насколько адекватным был выработанный ими алгоритм самооценки тем процессам, которые происходили в реальности? Наконец, насколько устойчивыми, унифицированными и инструментальными (т.е. приемлемыми для практиче-

ского внутри- и внешнеполитического действия) были те образы мира, которые оформились и, следовательно, имели шанс быть актуализированными в 1945 году.

Президент Ф.Д. Рузвельт, подводя итоги Ялтинской конференции в своей речи перед конгрессом, очертил контуры будущего мира следующим образом: «Мир, который мы строим, не может быть ни американским, ни британским миром, не может быть он также русским, французским или китайским. Он не может быть миром больших или малых стран. Он должен быть миром, базирующимся на усилиях всех стран» [9, p. 570 – 586]. Возвышенная мечта президента питалась многим ранее сформулированным им же лозунгом «новый курс для США и для всего мира», а также планами создания ООН, в которой лидерство США должно было находить оправдание в моральном авторитете и экономической мощи нации.

Рузвельт стал великим президентом не потому, что, управляя страной из инвалидной коляски, он четырежды сумел выиграть президентскую гонку, вывел страну из кризиса и возглавил ее в годы войны. Его главная заслуга – интеграция нации в эпоху всеобщей дезинтеграции, в объединении антифашистских сил, невзирая на наличие глубочайших противоречий в стане союзников. Образ мира, предложенный им и широко растиражированный средствами массовой информации, подкупал прежде всего своей оптимистической верой в общность человечества, основанную на признании универсальных ценностей, таких, как мир и свобода для всех, открытые двери в торговле, законные и общепризнанные способы разрешения всех споров. Этот образ оплодотворил решение Ялтинской конференции, делая позицию американской делегации довольно податливой и компромиссной.

Очень скоро после смерти Рузвельта этот образ отойдет на задний план, затем будет назван иллюзией непрактичного мечтателя или даже результатом подрывной инфильтрации. Для нас же важно, что весной – летом 1945 года он являлся четко фиксируемой константой как общественного сознания США, так и политического поведения руководства страны. Не

менее значимо и другое соображение: каким бы ни был привлекательным образ, даже возведенный в ранг фундамента официальной программы, он не был гарантирован от деформации, искажений, эрозии и даже полного разрушения. Как определенный интеллектуальный продукт он не передается по наследству.

Г.С. Трумэн, не обладавший убежденностью, харизмой и политической искушенностью своего предшественника, в первый год своего пребывания в Белом доме почти ничего не сделал для того, чтобы сберечь наследие Рузвельта, прежде всего потому, что к моменту прихода к власти он, очевидно, не имел собственных взглядов, хоть как-то претендующих на системный охват мировых процессов. Опубликованные бумаги президента не содержат ни одного заявления, способного претендовать на самостоятельное и цельное изложение представлений о современном ему мире. Поначалу имело место простое воспроизведение некоторых, ставших уже привычными, характеристик и лозунгов. Двадцать пятого апреля 1945 года в Сан-Франциско он напомнил о принципе добрососедства в его рузвельтовском понимании и сообщил о том, что новый, «лучший мир будет основан на уважении достоинства человека» [10, p. 22 – 23]. Подобных инерционных высказываний весной – летом 1945 года в официальной риторике звучало в изобилии.

Однако к моменту завершения конференции в Сан-Франциско акценты начали заметно смещаться, обозначив ряд тенденций, ставших очевидными к августу 1945 года. Во-первых, несмотря на слова о необходимости сохранения единства объединенных наций, все чаще сквозило признание возможности грядущей дезинтеграции [10, p. 143]. Во-вторых, победа в войне стала недвусмысленно интерпретироваться в духе превосходства американского образа жизни над любыми сообществами, основанными на иных ценностях. В радиообращении к стране после Потсдама это проявилось следующим образом: «Победа означает торжество (речь шла о завершении войны в Европе) идеала, основанного на правах простого человека, на

признании достоинства человеческой жизни, на концепции государства-слуги, а не господина своего народа» [10, p. 213; 6, p. 75]. В-третьих, оценивая базовые документы, определяющие принципы послевоенного устройства, президент исходил не из международных, а из американских представлений о справедливом порядке, в качестве эталона используя Конституцию своей страны [10, p. 139].

Так, действуя в целом в русле политической программы своего предшественника, Трумэн, возможно, незаметно для себя, все больше удалялся от интегрированной и динамичной картины мира, доминировавшей в период Ялты. Конечно, в июле-августе 1945 года международная ситуация была принципиально иной, по сравнению с началом года, однако этот факт не объясняет сути: Трумэн в тот момент пассивно следовал за событиями, пытаясь зафиксировать и осмыслить новое знание, все более склоняясь к признанию новой, уже предконфронтационной реальности.

Указанный дуализм в воззрениях президента во многом отражал полярные оценки перспектив послевоенного развития, характерные для американского общества в целом. Посол Великобритании в США, лорд Галифакс, в течение длительного времени занимавшийся анализом умонастроений американцев, сообщил в середине июня 1945 года в Лондон, что «общественное мнение (по поводу СССР. – *В.Ю.*) здесь разделилось – от безотчетного страха перед мощью коммунизма и тем, что он несет для Америки, до искреннего восхищения государством, которое, похоже, встало на путь первопроходцев и взялось за выполнение программы промышленного развития, похожей на ту, что Соединенные Штаты осуществили еще в XIX веке» [5, p. 261].

Человек, возглавивший страну в апреле 1945 года, занял пост, не имея четких представлений о контурах и главных качественных характеристиках мира, с которыми должны были взаимодействовать Соединенные Штаты.

Когда же это произошло, и международная реальность, и, что не менее важно, политическое окружение президента были

иными, чем в первые недели его пребывания в Белом доме. Принципиально новый образ мира – уже дезинтегрированного, с выраженными репрессивно-наступательными характеристиками, стал знамением новой эпохи – «холодной войны». Но для того, чтобы новая картина стала фактом истории, требовались определенные предпосылки.

Осознание нацией внешнего мира как целостного объекта – процесс сложный, достаточно длительный, динамичный и неоднозначный. Тем более, если речь идет о такой стране, как Соединенные Штаты Америки, которые всегда развивались через столкновение и взаимодействие групп, олицетворявших отторгнутые друг от друга области суждений. Выраженная «социология градов» [4, с. 115] присутствовала в оформлении тектоники внешнеполитического сознания американцев 1945 года, создавая и второй, и третий, и еще более глубокие пласты общественного сознания, насыщавшие понятие «мир» уже псевдорузвельтовскими или совсем не рузвельтовскими смыслами.

Следует остановиться на отдельных заявлениях, которые на первый взгляд являлись популяризацией, хотя и упрощенной, некоторых идей Рузвельта, усвоенных его недавним оппонентом, а на практике, как это нередко случается с вульгарными версиями, опрокидывали начальный образ и подменяли его суррогатами совсем иного качества.

Обратимся к высказываниям известного политика, кандидата в президенты от республиканской партии на выборах 1940 года У. Уилки, опубликовавшего в 1943 году книгу «Единый мир», положения которой весьма активно цитировались в речах и периодических изданиях 1945 года. Уилки сообщал читателям, что в конце войны перед страной встанет «миссионерская задача глобального масштаба и народы мира с готовностью и самоотречением ждут, что американцы ее выполнят» [11]. В 1944 году на страницах «Foreign Affairs» он пояснял свою мысль при помощи образа дороги, наполненной автомобильным транспортом. Напомнив читателям о том, что в недавнем прошлом, когда автомобиль был редкостью, каждый водитель руководствовался собст-

венным пониманием безопасной езды, он приводил следующее рассуждение: «Когда дороги заполнились мощными автомобилями, потребовались светофоры и дорожная полиция. Человек больше не может на дорогах пользоваться собственными правилами. Сегодня, если бы не было правил дорожного движения, ни один владелец не вывел бы свою машину из гаража. Красный и зеленый свет дают нам свободу пользоваться своими автомобилями» [12, p. 344 – 345]. Итак, на первый взгляд картина та же, что и у Рузвельта: мир должен быть единым, и в нем должны действовать правила, общие для всех. Разница в акцентах, но каких! Народы должны ждать, когда эти правила будут придуманы великодушным миссионером, который заодно расставит светофоры, уличных регулировщиков и прочих просветителей, призванных научить невежественных провинциалов ходить в соответствии с предписанными инструкциями, правилами и только в специально отведенных местах. Если у Рузвельта «мир не должен быть американским», то здесь он «американский» от начала до конца.

Глобализм в моноцентристском и пропагандистски привлекательном варианте все чаще дополнялся уже более приближенными к реальным политическим задачам экономическими разработками, планами создания ООН и ее структурных подразделений, проектами международных законов и прочими материалами.

Как бы то ни было, Рузвельт, Уилки, эксперты госдепартамента и многие из известных политических аналитиков все же рассматривали мир как единое целое. Будучи преобладающим, этот прогноз в 1945 году был отнюдь не единственным. Прежде чем дезинтеграция стала фактом международной жизни, она была зафиксирована как факт внешнеполитического сознания США, причем как его активный элемент, взывающий к политическому реализму, геопространственным закономерностям и национальным интересам.

Соединенные Штаты Америки, какими их застал 1945 год, были сложным и фрагментарным обществом. Его монолитность, обеспеченная «новым курсом» и победой, была реаль-

ностью, основанной на личном факторе и общенациональном признании некоторых угроз. Но именно 1945 год и внес поправки в оба обстоятельства, и это привело к тому, что конструкции, до поры находившиеся на периферии национального внимания, получили свой шанс на общенациональный PR. Что-то «сказанное тихим голосом» после Ялты, и особенно Потсдама, могло ворваться в сложившуюся систему образов в качестве пропагандистской сенсации и быстро завоевать место как в общественном мнении, так и в коридорах власти.

Речь идет, разумеется, об образе дезинтегрированного мира и его неизменных попутчиках: образе врага, сдерживании, национальных интересах, сформированных в категориях силы и экономических привилегий. Н. Спайкмэн, классик американской геополитики, и Г. Моргентау, один из создателей политического реализма, оформили свои концепции в 1943 – 1945 годах, и их идеи, основанные на принципиально новых, по сравнению с рузвельтовским модифицированным вильсонизмом, исходных данных, в 1945 году уже были заявлены. Вчитаемся, например, в такие слова Г. Моргентау: «Либерализм считает, что внешняя политика страны – это простая проекция ее внутреннего положения, так что, трансформируя второй элемент, можно изменить и первый. В действительности же внешняя политика определяется многочисленными факторами, в число которых входят и форма правления, и внутренняя политика государства, но, как показывает история, именно эти факторы и не являются решающими». И далее: «Примеры из истории внешней политики Франции, России и Великобритании за последние 200 лет служат убедительным доказательством преемственности. Преемственность во внешней политике – это не дело выбора, это необходимость, поскольку она вытекает из национального характера, традиций и действительного распределения силы, то есть таких факторов, которые ни одно правительство не в состоянии по-настоящему контролировать, но при этом вынуждено принимать их в расчет… Сутью и главным стабилизирующим фактором международных отношений является баланс сил» [8, p. 62, 93, 103, 106]. В словах ученого мужа отчетливо

проступают черты новой смысловой парадигмы, сердцевина которой дезинтегрированный мир, основанный на балансе сил и признании неизлечимости старых международных патологий. Следует добавить, что не менее талантливо, хоть и с совершенно иных позиций, к сходным выводам подошли два авторитетных и влиятельных персонажа эры Рузвельта – А. Гарриман и Дж. Кеннан.

Несмотря на различия в подходах и понятийном аппарате президента Трумэна и аналитиков из среды академической элиты, в их логике присутствовал общий стержень – национальный интерес как главный оценочный критерий состояния мирового порядка и, следовательно, определения внешнеполитической стратегии и тактики Соединенных Штатов Америки. А национальный интерес США летом 1945 года определялся в масштабах всей планеты, хотя и с оговорками в духе признания специфических интересов других держав [3, с. 158 – 171].

Итак, суммируя сказанное, необходимо констатировать, что сознание американцев, по крайней мере на уровне элитарного слоя политико-академического комплекса, в 1945 году не было монолитным. Контуры мира выглядели зыбкими, образы мозаичными, а политические рецепты, вытекающие из признания этих образов, – нестабильными и приблизительными. Соединенные Штаты в 1945 году готовы были продолжить поиск программы для синхронизации национальных и международных задач, причем определение образа мира во многом зависело от собственного опыта и только что обретенного ощущения великой державы. Выработав привычку определять себя в мировых понятиях, американцы в 1945 году оказались заложниками этой привычки, давая определение мира в американских понятиях. Эта привычка стала отличительной чертой американского внешнеполитического сознания последующих десятилетий.

Образ мира как осознанная картина реальности, простиравшейся за пределами государственной границы США, формировался методом проекции американских ценностей на внешнее пространство. Основные параметры этой проекции

укладывались в рамки классической триады: демократия – американская мечта в виде экономической независимости – неуязвимость извне. Первые же сигналы, свидетельствовавшие о том, что часть мирового пространства может стать непроницаемой для этих ценностей, повлекли за собой определение национального интереса с позиций признания раздела земного шара на две системы и согласия на руководство той его частью, которая, по мнению руководства страны, не представляла угрозы. Образ врага в лице СССР стал лишь производным от только что осознанного национального интереса, который утвердился в качестве главного цементирующего фактора американского общества к началу холодной войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001.

2. *Киселев И.Ю.* Знание в структуре взаимодействия государств: «мы» и «они» на международной арене // Вестник политической психологии. СПб., 2002. №1.

3. *Мальков В.Л.* 1945: Как понимали в Америке национальный интерес // Россия XXI. 2000. №1. С. 158 – 169.

4. *Согомонов А.Ю., Уваров П.Ю.* Открытие социального (Парадокс XVI века) / Казанск. ун-т. Казань, 2002.

5. *Confidential* Dispatches. Analysis of America by the British Ambassador 1939 – 1945 / Ed. by Th.E. Hachey. Evanston, New Univ. Press, 1973.

6. *Druks H.* Harry S. Truman and the Russians. N.Y., 1966.

7. *Fousek J.* To Leed the Free World: American Nationalism and the Cultural Roots of the Cold War. Chapell Hill: Univ. of North Carolina press, 2000.

8. *Morgenthau H.* Scientific Men Versus Power Politics. London, 1947.

9. *Public* Papers and Adresses of Franklin D. Roosevelt. N.Y., 1950. Vol. 12.

10. *Public* Papers of the President Harry S. Truman. 1945. Washington, 1961.

11. *Wilki W.* One World. N.Y., 1943.

12. *Wilki W.* Our Sovereignty Shall We Use Jt? // Foreign Affairs, April 1944. Vol. 22. №3.

Е.Т. Сысоева

ЦЕННОСТИ АМЕРИКАНЦЕВ И РУССКИХ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Новая реальность, переживаемая Россией в настоящее время, изменения в политике, экономике, культуре, идеологии, активная интеграция российского государства в мировое сообщество настоятельно требуют пересмотра целей, задач, методов преподавания иностранных языков. На данном этапе основной задачей является обучение языку как реальному и полноценному средству общения. Общение на иностранном языке рассматривается как межкультурное общение, как особый вид межличностного общения между представителями разных культур, с присущими им различными системами ценностей и приписывающими различные значения одним и тем же словам, грамматическим конструкциям, идентичным или схожим речевым и неречевым действиям, поступкам, ситуациям, событиям [2, с. 101].

Сейчас, как никогда раньше, осознается необходимость изучения языков в неразрывной связи с изучением культуры народов, говорящих на этих языках. Как отмечает А. Вежбицкая, если рассматривать «культуру как систему наследуемых представлений, выраженных в форме символов, при помощи которых люди общаются между собой и на основе которых фиксируются и развиваются их знания о жизни и жизненные установки», то язык является идеальной манифестацией исторически передаваемой системы «представлений» и «установок» [1, с. 43 – 44]. В настоящее время проводится активная работа по определению содержания методов, оценки успешности обучения культуре в процессе обучения иностранному языку [9, с. 2 – 7]. Многие специалисты придерживаются той точки зрения, что степень присутствия культурологического компонента зависит от уровня овладения языком. Так, по мне-

нию В. Левашевой, тесное сопряжение языка, коммуникации и культуры возможно на продвинутом этапе (на уровне proficient speaker). При этом если на начальной стадии обучения идет ознакомление со сходными культурологическими чертами, то на последующих этапах происходит выявление национально-специфических особенностей культуры страны изучаемого языка [10, с. 3]. Видный специалист в области межкультурной коммуникации С. Тер-Минасова подчеркивает необходимость сопоставления родного языка и культуры с культурой изучаемого языка: «Только при их сопоставлении вскрываются существенные особенности этих явлений» [6, с. 33]. Как показывают современные исследования, культурологическая составляющая (в терминологии Г. Елизаровой – «межкультурный аспект») пронизывает все компоненты коммуникативной компетенции, сформированность которой, в свою очередь, является залогом успешного общения на иностранном языке. Она органично входит в состав лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социокультурной и социальной компетенции [2, с. 186 – 191]. Для данного исследования особенно важным представляется обращение к социокультурной компетенции, к так называемым фоновым знаниям, знаниям культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения – всему тому, что составляет интеллектуальный фон общения [3, с. 94].

Поскольку формирование социокультурной компетенции предполагает интегрирование личности в системе мировой и национальной культур, ее межкультурный аспект включает в себя как знание системы универсальных культурных ценностей, так и знание систем ценностей родной культуры и культуры страны изучаемого языка, а также форм и способов их проявления в институтах общества, моделях поведения людей, языковой картины мира [2, с. 189]. Сформированность социокультурной компетенции способствует выработке речеповеденческих стратегий общения, устраняющих культурные барьеры и позволяющих избежать ложных шагов (faux pas), столь нелегко прощаемых и нередко приводящих к срывам в общении.

Ознакомление с ценностными представлениями и установками некоторого культурного сообщества может происходить с использованием разнообразного материала (например, с опорой на ключевые слова, высокочастотную лексику, формулы речи, междометия), поскольку в целом именно лексика несет основную культурную нагрузку, из слов и словосочетаний складывается языковая картина мира, определяющая восприятие окружающей реальности носителями данного языка.

Пословицы и поговорки русского и английского языков, отражают ценностные установки русских и американцев в отношении работы, изменений, линии поведения, оценки собственных возможностей. Ознакомление с психологическим складом нации на основе пословиц и поговорок кажется нам предпочтительным в силу двух причин. Во-первых, вследствие их устойчивого характера, ведь пословицы и поговорки относятся к тем глубинным представлениям о человеке, его месте в мире и обществе и выражают те нормативно-ценностные ориентации, которые выдержали испытание временем и сохранили свое значение и смысл в пространстве современной культуры. Во-вторых, мы остановили свой выбор на пословицах и поговорках из-за их неосознанности. Будучи квинтэссенцией народной мудрости, они редко подвергаются критическому анализу, однако оказывают огромное влияние на способы поведения и образ мыслей лингвокультурологической общности. Пословицы и поговорки работают на сохранение культурного генотипа народа, являются важным источником его самоидентификации.

Предваряя анализ примеров, обратимся к определениям данных устойчивых выражений, предлагаемых в Лингвистическом энциклопедическом словаре. «Пословица – краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически организованное изречение назидательного характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа; имеет форму законченного предложения» [5, с. 389]. «Поговорка – краткое изречение, нередко назидательного характера, имеющее, в отличие от пословицы, только буквальный план и в грамматическом

отношении представляющее собой законченное предложение» [5, с. 379]. Обратим внимание на то, что из изречений назидательного характера, присутствующих в американской культуре, для данной работы были отобраны те, которые задают нормы поведения для всех американцев, вне зависимости от их этнической принадлежности, иными словами, те максимы, которые способствуют выявлению национальной идентичности американцев. Следует отметить, что среди них преобладают поговорки. Результаты сопоставительного анализа пословиц и поговорок русского и английского языков обнаруживают значительные расхождения в национальных особенностях мышления американцев и русских. (Примеры, цитируемые далее, были взяты из источников, указанных в списке литературы под номерами 4, 7, 8, 11, 12.)

Так, трудовая этика американцев побуждает работать их без передышки:

No pain, no gain.
Keep your nose to the grindstone and your shoulder to the wheel.
Genius is one per cent inspiration and 99 per cent of perspiration.

Если трудолюбие у американцев получает исключительно высокую оценку, то русский человек скорее признает необходимость труда:

Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Любишь кататься, люби и саночки возить.

Однако, как отмечает А.И. Солженицын, «труд русского человека лишен упругого равномерного напряжения, нет методичности, настойчивости, внутренней дисциплины» [7, с. 3]. Подтверждением тому являются следующие поговорки:

Работа не волк, в лес не убежит.
Работа дураков любит.
Хочу – работаю, не хочу – смотрю пупом в небо.

Для того чтобы понять подобную установку, необходимо обращение к такому фактору, как географическая среда русского этноса. Известный русский историк Ключевский отмечал, что природа Великороссии часто смеялась над расчетами

русского человека. Страх, порождаемый ее капризностью и непредсказуемостью, а также опыт суровой жизни выработали у русского человека пассивно-созерцательное, фаталистское отношение к миру. Русский человек склонен размышлять о том, что делать, о необходимости дела и очень часто не может прийти к однозначному выводу, пока не доведет себя до крайности. Русские говорят:

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Поспешность нужна только в ловле блох.
Гром не грянет – мужик не перекрестится.

Знакомые с российской реальностью бизнесмены-иностранцы очень осторожно относятся к ответу россиянина на их просьбу, который выражается фразой «no problem». Это означает, что скорее всего данная просьба останется невыполненной. Если же в ответ на просьбу иностранный бизнесмен слышит: «Это будет очень сложно,» – данные слова вселяют в него надежду и веру в благополучный исход дела.

Фаталистское отношение к миру у русских влечет за собой и негативное отношение к изменениям:

От добра – добра не ищут.
Шире себя жить – не добра нажить.

Вместо активного вмешательства в ход событий, желания коренным образом переустроить свою жизнь, русский человек готов ждать лучшей доли и терпеть невзгоды и лишения:

Терпение лучше спасения.
Обещанного три года ждут.
Капля камень долбит.

В то же самое время в американском обществе превалирует положительная оценка изменений:

A change is as good as a rest.
Where you are going is much more important than where you have been.

Изменения прочно связываются в сознании с развитием, ростом, улучшениями, прогрессом. Способность поспевать за изменениями, в свою очередь, требует от американца энергич-

ного, предприимчивого, прагматичного подхода к решению задач (в отличие от русского – созерцательного):

There are many ways to skin the cat.
The proof is in the pudding.

Для американца существование в социуме характеризуется отношениями соревновательности, где приветствуется желание быть успешным, стать первым. Свидетельство тому следующие высказывания:

Winning isn't everything, it's the only thing.
No one remembers who was in the second place.
Life is a game and whoever ends with most toys wins.

Американцы не верят в силу провидения, если вас нарекли фаталистом, значит, вас подвергли серьезной критике. Это означает, что вы ленивы, полны предрассудков и не желаете брать инициативу в свои руки. Американцу трудно поверить в существование чего-то недостижимого, полет американского астронавта на Луну – красноречивое свидетельство отказа смириться с земными ограничениями. Опора на собственные силы и вера в свои возможности безграничны:

Who says you can't have it?
The sky is the limit.
You can't keep a good man down.

Полагание на собственные силы тесно связано с такой чертой американцев, как индивидуализм, который проявляется в приоритетном отстаивании своих интересов, своей непохожести, своего уникального пути:

Blow your own horn.
If you want a job done right, do it yourself.
Pull yourself up by your own bootstraps.

У русских в процессе этносоциализации укоренилась ценностная установка «быть как все». Данная ориентация препятствует реализации у русского человека стремления «быть личностью», она отдает первенство традиционно-рутинным, а не инновационным формам деятельности. Русские говорят:

Один в поле не воин.

Установка «быть как все» сопряжена с идеей соборности, любви к единству, где смысл человеческой индивидуальности определяется характером целого, внеличного, частью которого она является:

Вместе мы свернем горы;
Ум хорошо, а два лучше.

Соборность также имеет своим результатом покорность, самопожертвование, умаление своих возможностей. Как отмечает уже цитированный выше А.И. Солженицын, «утешение «ничего» – черта национального русского характера. Способ умалить цель, признать тщету всякого начинания – самооправдание, извиняющее отказ от стойкого проведения своих намерений. Быстрая покорность судьбе, готовность склониться перед неудачей» [7, с. 3]. Свидетельство тому следующие пословицы:

И рад бы в рай, да грехи не пускают.
Выше головы не прыгнешь.
Руби дерево по себе.
Не в свои сани не садись.

Там, где американец будет пытаться переломить исход дела на свою сторону:

If you first don’t succeed, try, try again.

И его не обескуражит неудача:

If at first you don’t succeed, destroy all the evidence that you tried.

Ответ русского в сходной ситуации будет максималистски-фаталистичным:

Либо пан, либо пропал;
Либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

Проведенный анализ пословиц и поговорок русского и английского языков свидетельствует о значительных расхождениях в нормативно-ценностных установках носителей русской и американской культур. Если среди американцев ценятся энергичность, предприимчивость, оптимистичное отно-

шение к изменениям, способность эффективного решения проблем; подчеркивается независимость личности, поощряются соревновательность, собственная инициатива, оригинальность и стремление рассчитывать только на собственные силы, то в русской культуре жизнь отдельной личности в значительной мере определяется коллективным «мы». Высокую оценку получают совместная деятельность, сотрудничество, учет интересов других; поощряются такие качества, как несуетность и терпеливость, в работе акцент делается не на результате, а на процессе.

Подводя итог, следует заметить, что изучение таких культуроспецифических единиц лексикона, как пословицы и поговорки, является чрезвычайно важным, поскольку, с одной стороны, через их сопоставление со сходными единицами родного языка выявляются черты самобытности и оригинальности национальных культур, с другой – преодолеваются барьеры этноцентричного восприятия, с его разделением на «своих» и «чужих», с единственно возможной шкалой оценочных стандартов, что позволяет учащемуся выработать стратегии поведения, основанные на взаимопонимании, терпимости и уважительном отношении, и что ведет в конечном итоге к гармонизации межкультурного общения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.

2. *Елизарова Г.В.* Культура и обучение иностранным языкам. СПб., 2001.

3. *Колесникова И.Л., Долгина О.А.* Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. СПб., 2001.

4. *Кузьмин С.С., Шадрин Н.Л.* Русско-английский словарь пословиц и поговорок. М., 1989.

5. *Лингвистический* энциклопедический словарь. М., 1990.

6. *Тер-Минасова С.Г.* Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000.

7. *Солженицын А.И.* Россия в обвале. Быть ли нам, русским? hronos.km.ru/biogrf/soljenic.

8. *Dundes A.* UC Berkeley Convocation Faculty Address. www.berkeley.edu/news/media//releases/2002/05/commencement.

9. *Lessard-Clouston M.*, Towards an Understanding of Culture in L2/FL Education. http://iteslj.org/Articles.

10. *Levashova V.*, Language-in-culture or culture-in-language? http://spelta.spb.ru/proceedings.

11. *The ABCs* of American Culture – 10 Commandments. www.gmi.org/products/abcs_ten.

12. *Wederspahn G.*, American Sayings: Foreigners' Windows Into US Culture. www.bestbooks.biz/global/american_culture.

М.Г. Муравьева

ГЕНДЕРНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ (на примере британской политической элиты)

Обращение сегодня к проблемам идентичности весьма закономерно в современном меняющемся мире в условиях глобальной трансформации. Изучение соотношения коллективной и индивидуальной идентичностей помогает нам не только найти свое место под солнцем, но и осознать себя, провести процесс самопознания, столь необходимый нации, достаточно долгое время имевшей навязываемую извне идентичность. Кроме того, в современном обществе у нас появляются на первый взгляд новые аспекты идентичности, например гендерная (иногда, не весьма правомерно, называемая в отечественной литературе половой идентичностью).

Задача данной статьи – рассмотреть этот аспект, выявить, насколько он является новым, и наметить пути взаимодействия гендерной идентичности с другими аспектами коллективной идентичности. Мы выбрали для такого анализа уникальную в своем роде группу, английскую политическую элиту (британскую, если использовать терминологию гражданства).

Выбор пал на элиту прежде всего потому, что на ее примере можно проследить так называемые «эталонные» качества формируемой коллективной идентичности. С другой стороны, нас интересует исторический аспект формирования гендерной и национальной идентичности именно у английской политической элиты, поскольку Англия предоставляет нам великолепный пример наиболее ранней концепции национализма, ставшей очень быстро частью коллективной идентичности правящего класса. В социальном отношении английская элита также уникальна, поскольку до сих пор представлена наследственной и жалованной аристократией, чьи права закреплены местом в палате лордов, и которую мы называем пэрством.

Нас, прежде всего, интересуют особенности механизма воспроизводства английского пэрства, который позволил ему обойти процесс вырождения, характерный для континентальных аристократий (связанный либо с физическим уничтожением, как, например, во Франции или России, или с естественным упадком, как, например, в Скандинавии и Голландии). Одной из составляющих частей данного механизма, наряду с демографическими и социальными особенностями, стало формирование определенного вида идентичности [26; 27; 32].

Пэрская идентичность изначально была по сути своей исторической. В пэрстве как нигде был заметен процесс исторической преемственности как в процессе самоидентификации, так и в процессе создания коллективной идентичности. Лозунг Сартра – «Я есть мое прошлое» – нашел полное отражение в среде английской знати (и не только английской, любая аристократия отличается исторической идентичностью) [30, с. 108 – 113]. Главным показателем здесь могут служить семейные генеалогии, массовое распространение которых относится к XIV-XV вв. Именно в них мы находим попытку установления исторической преемственности не только своего рода, но и своей коллективной идентичности. Генеалогии рассказывают нам не только о носителях титулов и их родственниках, но родословные книги, появляющиеся в конце Средних веков, дают нам информацию о деяниях наиболее выдающихся представи-

телей рода, показывая, таким образом, пример для подражания и через формирование чувства гордости своими предками устанавливая рамку идентичности [10; 25, с. 226 – 256]. Здесь все собственно аристократические деяния укладываются в концепцию «рыцарственности», подразумевающую не просто служение своему сюзерену и Даме, но в Англии XV века (и это составляет ее отличие от континентальной рыцарственности) – патриотические деяния.

Одним из основных элементов данной концепции становится своеобразный шовинизм, толкающий английское рыцарство (оно же в тот момент представляло политическую элиту) к осознанию себя не как части наднационального ордена рыцарства, чьей идентификационной основой служит прежде всего социальная принадлежность, определяемая концепцией знатности, но как необходимого элемента английского народа, нации, готового к служению и защите не эфемерного идеала Дамы, но английской Дамы, не далекого «дела Христова», но английской церкви, не защите и милости к бедным и униженным, но собственным английским крестьянами. Английская рыцарственность стала противопоставлять англичан как нацию всем остальным народам и данная идентификационная концепция предопределяла английской аристократии служить прежде всего своему народу и государству, но не королю (чье происхождение неясно и который должен научиться быть англичанином, что особенно удалось Генриху VII) и не римской наднациональной церкви (что ясно показала Реформация и пути ее проведения) [8; 9; 11; 14; 19; 20]. Хотя понятие народа в ту эпоху ограничивалось самими аристократами, джентри, представителями профессий и горожанами, то есть теми, кто был представлен в английском парламенте [52, гл. 5; 51, с. 19 – 54].

Другой особенностью английской рыцарственности стала борьба за гендерную идентичность или поло-ролевую идентичность, как ее любят называть психологи. Здесь она определялась изначально отношением к женщине и в принципе обращением к женщине как предмету служения и выражения эротического чувства. Куртуазность (в том виде, в каком мы

застаем ее в XV-XVI вв.) является исключительно гетеро-сексуальным понятием и она, таким образом, определяет гендерную идентичность рыцарства. Важным является тот факт, что до появления национального элемента рыцарственности, маскулинность была достаточно размытой, не было фиксированных элементов: рыцари заливались слезами и страдали, теряли сознание от переизбытка чувств, могли позволить себя ползать на коленях, ездить в повозках (как это сделал Ланселот), класть свою голову на колени к Даме, обниматься друг с другом и спать под одним плащом, натягивать женскую рубашку (рубашку Дамы) поверх кольчуги на турнире или вовсе на голое тело, менять свое обличье (переодеваться в женское или монашеское платье, как, например, в Фламенке), чтобы пробраться к Даме и совершить адюльтер (цель куртуазного поведения). Единственным критерием мужественности оставалось поведение в бою, да и Дамам также не пристала трусость (в условиях обороны замков, феодальных войн и других неприятностей).

К концу же XV века начинают появляться рамки маскулинного поведения: рыцарю (он еще не обозначается как мужчина) не пристало плакать, он не может лишиться чувств (хотя рецидивы бывают, например, см. «Королеву Фей» Спенсера или вспомним сэра Филиппа Сидни), объятья с другим мужчиной могут привести к обвинениям в колдовстве (гомосексуализм, так же как и педофилия вместе с поеданием младенцев, рассматривались тогда как часть необходимого антуража колдуна. Жиль де Ре, знаменитая Синяя Борода, на самом деле обвинялся не в смерти жен, но в растлении и убийстве детей), если это, конечно, не крепкое мужское объятье (а также не забудем о формировании концепции скупой мужской слезы), одежда и аксессуары должны четко определять мужчину (появляется гульфик как значимый элемент мужского костюма), не допускается никаких женских рубашек, тем более платьев или сутан (даже в случае попытки завоевания дамы или проникновения в стан врага), все переодевания теперь обозначаются социально, то есть можно пе-

реодеться горожанином (унизительно, но гораздо меньше, чем переодеться женщиной), любовь получает жесткую гетеросексуальную регламентированность и моногамность. Вместе с тем вирильность и агрессивность начинают приобретать популярность в рыцарской среде. Сексуальное насилие (как гетеро-, так и гомосексуальное) становится частым способом демонстрации власти и превосходства, способом подчинения [60, с. 225 – 230]. Вместе с тем гомосоциальность начинает характеризовать *мужскую* элиту, рыцарство постепенно начинает осознавать себя *мужским* союзом, с ударением на первом слове, самоидентификация медленно ставит на первое место свою половую идентичность, рыцарь начинает мыслить себя мужчиной прежде всего, социальный аспект отходит на второй план [60, с. 215 – 219; 61]. XVI век отказывается от понятия «рыцарь» применимо к мужчине и заменяет его джентль*мен*ом, словом, в котором основное ударение падает на его вторую часть [1; 2; 3; 4; 6; 15; 18; 34].

Можно дать огромное количество объяснений данному процессу (чем и занимается современная гендерная литература), однако нас интересует здесь именно эта связь: связь национализма и жесткой половой идентичности. Наиболее ярко она проявилась в новой концепции коллективной идентификации, которая медленно, но верно распространялась в среде английского пэрства между XVI и XIX вв. Действительно, потребовалось три столетия, чтобы пэрство стало идентифицировать себя как джентльменов наряду с теми, кто не носил титула и относился к так называемому джентри. Как и рыцарственность, джентльменство стало системой сложных и детально разработанных ритуалов, главными из которых стали два элемента: служение Отечеству (не королю, но английскому народу) и так называемое «джентльменское поведение», принятие правил игры, совершенно новое понятие, не ведомое рыцарю. Джентльмен является «истинным англичанином», в это понятие включается представление себя как образца «англичанности», того образа, который нам всем хорошо известен (несмотря на сатиру Дефо) [7].

Интереснее всего, что само понятие джентльмена создается не пэрами (они хотя бы поучаствовали в создании концепции рыцарственности), но представителями джентри и даже профессий (юристами и учеными) [26, с. 36 – 40]. Эта концепция привносится внутрь пэрства через браки на дочерях пэров, а главное, выдачу замуж своих дочерей в пэрские семьи, чтобы полученное потомство, воспитанное в соответствии с данной концепцией (воспитанием, как правило, в этот период начинают заниматься тюторы, сами являвшиеся часто авторами трактатов на данную тему, вспомним хотя бы Дж. Локка), получившее титулы благодаря своим знатным отцам, расценивало джентри не как низший сорт людей (как это было еще в XVII веке), но как равных, обеспечивая себе, таким образом, постоянное воспроизводство элиты легальным путем. Синдром «младших сыновей» является обратной стороной этого процесса. Викторианские ценности – квинтэссенция ценностей любой политической элиты [28, с. 313 – 316]. Надо отметить, что концепция джентльменства до сих пор является одной из самых стойких и популярных маскулинных концепций [49, с. 185 – 199].

С другой стороны, произошло и перерождение национализма: английская нация превратилась в британскую, империалистическую, *Englishness* сменилась на *Britishness*. Особенность этого последнего феномена в том, что, в отличие от предыдущего периода, британцы (в отличие от англичан) стали идентифицировать себя от противного, то есть от формирования концепции «другого» [48, с. 309 – 329]. Джентльменство как концепция тоже упирала на «другого», не-джентльмена. Серьезным компонентом и той и другой концепций стал протестантизм, четко обоснованный как абсолютно необходимый для «совершенного джентльмена» Даниэлем Дефо [7].

Все лорды-католики были лишены права заседать в палате лордов, образ католика в национальном самосознании формировался как отрицательный. Аморальное поведение католиков (адюльтер французов, например) осуждался истинным джент-

льменами, поскольку противоречил правилам честной игры, в данном случае по отношению к женщине. Основным понятием для джентльмена служило выполнение обязательств, любых, по отношению к кому бы они ни были приняты, крестьянину, горожанину, другому джентльмену, женщине [62, с. 91 – 132]. Британская идея национализма как нации, жаждущей справедливости и гарантирующей эту справедливость, была тесно связана с ней. Протестантский концепт мессианства обеспечил распространение идеи миссии белого человека, точно совпавшей с детально разрабатываемой в джентльменском этносе функцией протектора, унаследованной от рыцарства [35]. Джентльмен обязан защищать слабых (вдов, женщин, детей), колониальные народы рассматривались именно как дети, которых Британия должна была защитить.

Первый удар по этому сплоченному джентльменскому национализму был нанесен Второй мировой войной, однако последовавшее за ним возрождение истинной Британии, особенно в исторических исследованиях, показывает, что с этой концепцией трудно было расстаться. Концепция джентльмена здесь перестала ограничиваться лишь узким слоем знати и джентри, она стала достоянием политической элиты в целом, вне зависимости от социального происхождения ее членов (хотя в большинстве своем британская политическая элита до сих пор остается социально однородной) [33; 5; 12; 16; 17; 23; 24].

Как же мы можем объяснить необходимость четкой гендерной идентификации и национализма, поскольку, как мы видели, эти процессы шли параллельно и были близко взаимосвязаны. Может быть, суть заключается в распространении индивидуализма и рождением той специфической форма самоидентичности, когда понятие «самости», или просто «себя» (Self), для полного формирования требует отрицание другого (другой самости)? На уровне коллективной идентичности начинают создаваться мифологемы, чья генеалогия постулируется как «истинная», «настоящая» или «древняя», опять же в отличие от других, «ложных», «ненастоящих» и «новых», что

дает ей жизненные силы [53, с. 91 – 103]. Жесткая гендерная идентичность служит той же цели: создается мифологический тип мужчины, «настоящего» и «определенного». Национализм, как и джентльменство, в определенной степени претендует на демократичность, каждый может стать обладателем мифа, участником его и создателем, надо лишь соблюдать определенную систему ритуалов и придерживаться определенной системы ценностей. Важно, что предлагается взамен, а взамен предлагается осознание правильности, справедливости избранного пути…

В отличие от британской российская политическая элита не сформирована, некоторые политологи говорят о «низком качестве» правящих элит, указывая, что рекрутирование в элиту происходит не через политические партии (как это характерно для Западных демократий), но посредством независимых «семей», то есть конгломерата финансово-промышленных групп и определенных политических сил. Тем не менее партии, например, в Англии, давшей западной цивилизации классическую партийную систему, существовали не всегда, а политическая элита отличается стабильностью на протяжении последних четырехсот лет. Процесс рекрутирования, безусловно, важен. Но нам видится более важным момент создания адекватной коллективной идентичности, присущей той или иной элите и служащей фундаментом ее существования. Российская политическая элита не имеет такой идентичности, вполне адекватно отражая общий процесс «потери» коллективной идентичности в нашем обществе.

Этому процессу также мешает размытость российской классовой структуры, когда элита не рассматривается как таковая в силу единого социального статуса внутри общества. Западные элиты до сих пор сохраняют четкую иерархическую форму. Проникновение в такую элиту связано не только с политической деятельностью, но и с обретением определенного социального статуса (который может формироваться либо через финансовое положение, либо через брачные связи, часто через то и другое вместе). В россий-

ской элите до сих пор много «случайных» людей, что становится особенно заметно на региональном уровне.

Проблема регион – центр представляет собой другой момент при формировании коллективной идентичности элиты. Региональные элиты часто не коррелируются с центральными тенденциями, происходящими внутри основной политической элиты. При этом центр мало внимания обращает на включение региональной элиты в свою идентификационную систему, предпочитая насаждение «своих людей» извне, что ведет к конфликту внутри элиты на местном уровне. Если прибавить к этому конфликт имперского и национального самосознаний, ситуация выглядит достаточно запутанной.

Сущностью всех этих процессов является несформированность концепции сфер, жесткого разделения не только на частное и публичное, но и на индивидуальное и коллективное. Любая западная демократия базируется на четком понимании и очерчивании границ дозволенного, демаркации «себя» и «другого». Успех стабильности элит (а британская элита представляет собой самый яркий пример) заключается в определении жестких каналов проникновения, в контролируемой открытости на входе и выходе. Практический кодекс поведения (такой, например, как джентльменство), создающий необходимую самоидентичность, система викторианских ценностей, отвечающая за разграничение сфер, гомосоциальность, ведущая к осознанию общих интересов, являются необходимыми компонентами элитарной стабильности на всех уровнях. Трудно говорить о том, на какой стадии находится процесс формирования российской элиты, но важно помнить следующее: нельзя пытаться перенимать западный элитарный опыт выборочно или поверхностно. Помимо социальных и политических аспектов процесса, гендерное самосознание играет не последнюю роль. Членам политической элиты мало осознавать себя мужчинами на повседневном уровне, необходима концепция гегемонной маскулинности, позволяющая сформировать единую коллективную идентичность.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Льюль Раймон.* Книга о рыцарском ордене. СПб., 1997.

2. *Мэлори Томас.* Смерть Артура. М., 1993.

3. *The Boke* of the Ordre of Chyualry / Ed. A.T.P. Byles. E.E.T.S., O.S. 1926. № 168.

4. *The Boke* of Noblesse / Ed. J. G. Nichols. London, 1860.

5. *Brougham H. (Thomkins I.)* Thoughts upon the aristocracy of England. London, 1835.

6. *The Castell* of Pleasure / Ed. Roberta D. Cornelius. E.E.T.S., O.S. 1930. №179.

7. *Defoe D.* The Complete English Gentleman / Ed. by Karl D. Buelbring. London, 1890.

8. *A Discourse* of Common Weal of this Realm of England / Ed. by E. Lamond. Cambridge, 1929.

9. *Elyot, Sir Thomas.* The Boke of Gouernour / Ed. H.H.S. Croft. London, 1880.

10. *Fayettes* of Armes and of Chyualrye / Ed. A.T.P. Byles. E.E.T.S., O.S. 1932. №189.

11. *Fortescue, Sir John.* Governance of England / Ed. C. Plummer. Oxford, 1885.

12. *Friswell J.H.* The Gentle life. London, 1865.

13. *Gates Geoffrey.* The defence of militarie profession. London, 1579.

14. *Of Gentylnes* and Nobylyte / Ed. K.W. Cameron, in Authorship and Sources of «Gentleness and Nobility»: A Study in Early Tudor Drama. Raleigh, 1941.

15. *Gilbert, Sir Humphrey.* Queene Elizabethes Achademy / Ed. F.J. Furnivall. E.E.T.S., E.S. 1869. №8.

16. *Gisborne T.* An Enquiry into the Duties of Men in the higher and middle classes of Society in Great Britain. London, 1795. 2 vols.

17. *Gracian y Morales B.* The Complete Gentleman: or a Description of the several qualifications both natural and acquired, that are necessary to form a great man. London, 1730.

18. *Hawes Stephen.* The Pastime of Pleasure / Ed. W.E. Mead. E.E.T.S., O.S. 1928. №173.

19. *Humphrey Laurence.* The Nobles or Of Nobilitie. The original nature, Dutyes, right, and Christian Instruction thereof. London, 1563.

20. *Knyghthode* and Bataile (1457 – 60?) / Ed. R. Dyboski and Z.M. Arend. E.E.T.S., O.S. 1936. №201.

21. *Peacham Henry.* The Compleat gentleman. London, 1622.

22. *Romei Count Annibal.* The Courtiers Academie. London, 1598.

23. *A vindication* of the degree of gentry in opposition to titular honours, and the humour of riches, being the measure of honours. Done by a person of quality. London: Cambridge, 1663.

24. *Whiston H.* A treatise of nobility, wherein nobleness of birth, honourable achievement and virtuous acquisition are duly weighted and valued. London, 1664.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

25. *Кин М.* Рыцарство. М., 2000.

26. *Кулагина (Муравьева) М.Г.* Английская аристократия первой половины XVIII века: класс или сословие? // Вестник всеобщей истории. СПб., 1997. С. 31 – 52.

27. *Кулагина (Муравьева) М.Г.* Английская аристократия первой половины XVIII века: проблемы самоидентификации// Герценовские чтения 1997. Актуальные проблемы социальных наук. СПб., 1998. С. 47 – 49.

28. *Кулагина (Муравьева) М.Г.* К вопросу о формировании имперской элиты Великобритании в середине XVIII века// Кареевские чтения. СПб., 1999. Вып. 2. С. 313 – 316.

29. *Ливен Д.* Аристократия в Европе 1815 – 1914. СПб., 2000.

30. *Любе Г.* Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. №4. С. 108 – 113.

31. *Муравьева М.Г.* Реформа палаты лордов 1999 г.: конец английской аристократии? // Герценовские чтения. 2000. Актуальные проблемы социальных наук. СПб., 2000. С. 99 – 101.

32. *Муравьева М.Г.* Историческая андрология // Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. М.: Восток-Запад: Женские инновационные проекты, 2002 (электронная версия: http://www.owl.ru/gender/index.htm).

33. *Муравьева М.Г.* Джентльмен // Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. М.: Восток-Запад: Женские инновационные проекты, 2002 (электронная версия: http://www.owl.ru/gender/index.htm).

34. *Муравьева М.Г.* Рыцарь // Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой. – М.: Восток-Запад: Женские инновационные проекты, 2002 (электронная версия: http://www.owl.ru/gender/index.htm).

35. *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. М.: Прогресс, 1987.

36. *Хмелевская Ю.Ю.* Англичане в великой войне: к вопросу о джентльменстве и профессионализме// Исследования по консерватизму. Пермь, 1998. Вып. 5. С. 72 – 74.

37. *Abercombie M., Hill C., Turner B.* The Dominant Ideology Thesis. London, 1980.

38. *Beard, Geoffrey W.* The compleat gentleman: five centuries of aristocratic life. New York, 1993.

39. *Beckett J.V.* The Aristocracy in England, 1660 – 1914. Oxford; New York, 1986.

40. *Bence-Johnes M., Montgomery-Massingberd H.* The British Aristocracy. London, 1979.

41. *Brauer G.C.* The Education of a Gentleman: theories of gentlemanly education in England, 1660 – 1675. New York, 1959.

42. *Bush M.L.* The English Aristocracy. A comparative synthesis. Manchester, 1984.

43. *Bush M.L.* Noble Privilege. New York, 1983.

44. *Cannadine David.* Aspects of Aristocracy. Grandeur and Decline in Modern Britain. New York; London, 1994.

45. *Caine B., Sluga G.* Gendering European History. London; New York, 2000.

46. *Cannon J.* Aristocratic Century. The Peerage of 18th century. Cambridge, 1984.

47. *Cantor P.A.* A class act: «persuasion» and the lingering death of the aristocracy // Philosophy and Literature. Baltimore, 1999. Vol. 25. №11. P. 127 – 137.

48. *Colley Linda.* Britishness and Otherness: An Argument // Journal of British Studies. 1992. Vol. 31. №4. P. 309 – 329.

49. *Connell R.W.* Masculinities. Berkeley, Los Angeles, 1995.

50. *The European* Nobilities in the 17th and 18th Centuries / Ed. by H.M. Scott. London; New York, 1995.

51. *Ferguson Arthur B.* The Chivalric Tradition in Renaissance England. Washington, 1986.

52. *Ferguson Arthur B.* The Indian summer of English chivalry, studies in the decline and transformation of chivalric idealism. Durham, N.C., 1960.

53. *Fowles John.* On Being English, but not British // John Fowles. Wormholes. Essays and Occasional Writings. London, 1999. P. 91 – 103.

54. *Gentry* and Lesser Nobility in Late Medieval Europe / Ed. by Michael Jones. New York, 1986.

55. *Gillespie James L.* Richard II's knights: chivalry and patronage // Journal of Medieval History. 1987. 13. P. 143 – 159.

56. *Girougard Mark.* The Return to Camelot. Chivalry and the English Gentleman. London; New Haven, 1981.

57. *Given-Wilson Chris.* The English Nobility in the Late Middle Ages. London; New York, 1996.

58. *Goodman, J.R.* European chivalry in the 1490s. Comparative civilizations review. 1992. 26. P. 43 – 72.

59. *Guttsman W. L.* The British Political elite. London, 1963.

60. *Kaeuper Richard W.* Chivalry and Violence in Medieval Europe. Oxford; New York, 2001.

61. *Kelso Ruth.* The Doctrine of the English Gentleman in the Sixteenth Century. Urbana, 1929.

62. *Kuchta David,* The three-Piece Suit and Modern Masculinity. Berkeley; Los Angeles; London, 2002.

63. *Langford P.* Public life and proprieted Englishmen. 1689 – 1798. Oxford, 1994.

64. *Mason J.* Gentlefolk in the making studies in the History of English Courtesy Literature and related topics from 1531 to 1774. Philadelphia, 1935.

65. *Moorman Charles.* A Knight There Was. The Evolution of the Knight in Literature. Lexington, 1967.

66. *Noblesse* oblige: An enquiry into the identifiable characteristics of the English Aristocracy / Ed. by N. Mitford. Oxford, New York, 1989.

67. *Paxman J.* Friends in High Places. Who runs Britain? Harmondsworth, 1991.

68. *Perrott R.* The Aristocrats. London, 1968.

69. *Ponsonby A.W.H.* The Decline of Aristocracy. London, 1912.

70. *Reed, A.W.* Chivalry and the Idea of a Gentleman // E. Prestage ed., Chivalry. New York, 1928.

71. *Sayer M.J.* English Nobility: The Gentry, the heralds and the Continental Context. Norwich, 1979.

72. *Scott J.* Who rules Britain? Cambridge, 1992.

73. *Stone L., Stone C.L.* An open Elite? England, 1540 – 1880. Oxford; New York, 1986.

74. *Vale J., Vale M.* Knightly codes and piety // History today. 1987. Vol. 37. P. 12 – 17.

В.В. Струков

ALIENATION: ФЕНОМЕН «ОТЧУЖДЕНИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Феномен «отчуждения» (англ. – alienation, нем. – Entfremdung, фран. – eloignement) – одна из важных категорий теории познания, категория, которая обеспечивает объективность получаемого знания. В философии и социологии отчуждение – социальный процесс, который характеризуется удалением человека от собственной деятельности и ее продукта. Так, в теориях общественного договора отчуждение связано с процессом делегирования прав личности государству; в философии Гегеля отчуждение становится фактором опредмечивания, экстраполяции внутренних сущностных сил человека; в экзистенциализме отчуждение рассматривается как форма существования человека в обезличенном мире повседневности (Хайдеггер) или как симптом превращения механического мира в самостоятельную силу (Ясперс), как симптом вытеснения человека за пределы его личностного мира, подлинного бытия (Сартр) и т.д.

Цель настоящей работы – рассмотреть феномен «отчуждение» в контексте понятия «нация», что и обусловило использование средств английского языка в заглавии данной статьи для передачи желаемого смысла (AlieNation: Alienation – Nation). Очевидно, что подобная контаминация языковых единиц и элементов значения типологически восходит к стилю мышления Ж. Деррида и его практике деконструкции текста. Исследователи, использовавшие схожую структуру, открыто признаются в такого рода заимствовании, которое скорее следует воспринимать как развитие принципов анализа, разработанных французским ученым.

Так, Х. Бхабха в своей работе «DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation» обращается к

опыту мигранта и исследует понятие нации как формы существования человека в рамках культуры в ее локальном измерении. «Локальность» культуры проявляется в темпоральности, а не историчности ее форм, в существовании сообщества как структуры более символической, чем социум, более мифологической, чем идеология, менее гомогенной, чем гегемония:

«This locality is more *around* temporality than *about* historicity: a form of living that is more complex than 'community'; more symbolic than 'society'; more connotative than 'country'; less patriotic than *patrie*; more rhetorical than the reason of state; more mythological than ideology; less homogenous than hegemony; less centered than the citizen; more collective than 'the subject'; more psychic than civility; more hybrid in the articulation of cultural differences and identifications – gender, race and class – than can be represented in any hierarchical or binary structuring of social antagonism» [4, с. 292].

Другими словами, Х. Бхабха в своем понимании нации связывает общественно-политический дискурс с метафорическим опытом индивида, синхронический план выражения процесса децентрации субъекта с вариативностью гибридных форм артикуляции национальной идентичности, а само понятие «нация» помещает в один ряд с такими социокультурными конструктами, как гендер, раса, класс, которые, как известно, являются основными объектами постмодернистского вызова.

М. Лэнди в своей работе «Nation and Imagi-Nation in *Private's Progress*» анализирует развитие послевоенного британского национального кинематографа с точки зрения того, как изменившиеся представления о национальной истории, ее героях и антигероях позволяют авторам фильмов вопрошать о соотношении таких понятий, как власть, идентичность, медиа. Исследователь пытается спорить с традиционными дескриптивными моделями нации (в частности, разработанными Б. Андерсоном или Э. Балибар) как «воображаемого сообщества», которые предполагают существование неких коллективных целей, единого языка, национальных типов и общего исторического прошлого. Причину пересмотра сложившихся

понятий М. Лэнди усматривает в необходимости включения нового экономического, культурного и политического опыта, учета сложных отношений между регионализмом и национализмом, проблемы транснационального субъекта, а также достижений в области постколониальной и постмодернистской критики.

М. Лэнди подчеркивает «сконструированность» нарративных принципов, которые, с точки зрения создателей послевоенного британского кино, являются проводником идеализирующей и, добавим от себя, идеологизирующей функции нации как формы существования современного социума. Асимметрия идеалов нации и ее действительных интересов, фальшивая природа патриотизма, конфликт принципов национализма и особенностей традиционной культуры проявляются в циклическом (концентрическом) построении повествования, в амбивалентности образов персонажей и др.

В результате анализа нарративной организации и иконографии послевоенных британских фильмов М. Лэнди, опираясь на Ж. Деррида, утверждает невозможность преодоления классовых, культурных и других различий индивидов посредством языка, нарративные функции которого традиционно используются для создания некой сообщности и общей – национальной – идентичности: «… the inability of language to suppress differences and conflict in the interests of inclusiveness and common identity. Complete concealment becomes impossible» [7, с. 185].

Какова бы ни была концепция языка (то есть неважно, какие формы и функции мы придаем этому понятию), очевидно одно: текстовая (текстуализированная, Il n'y a pas de hors--texte) природа нации позволяет нам *прочитать* ее в контексте культуры. *Чтение* как выявление отсутствия опирается на отчуждение как отстранение (differer) и таким образом преодолевает пресловутый логоцентризм как этноцентрическую модель знания[1]. Отстранение в свою очередь тесно связано с ка-

[1] Логоцентризм – это этноцентрическая метафизика в изначальном, а не «релятивистском» значении этого слова [13, с. 211].

тегорией отдаления, то есть формой отсутствия как такового (detachment versus engagement). Данные понятия будут использованы нами как принципы прочтения дискурса нации при анализе некоторых тенденций в современной британской литературе и кинематографе.

Развитие литературы и кинематографа 1980 – 1990-х гг. в Великобритании характеризуется острым интересом к понятию культуры и нации, что обусловлено сугубо внутренними – эстетическими – причинами (освоение и разработка постмодернистских, постколониальных идей), а также внешними событиями, связанными с изменением статуса Великобритании как бывшей колониальной державы и всплеском консервативных настроений в обществе, процессов внутриевропейской федерализации и интеграции в мировое экономическое и культурное пространство. Внутри самой Британии центробежные политические и экономические процессы происходят параллельно с укреплением позиций регионов в их художественном осмыслении судьбы страны и нации в целом.

Отчуждение от времени

Целый пласт современной британской литературы и кино посвящен проблеме исторического прошлого: Г. Свифт «Водоземье» (1983), П. Акройд «Хоксмур» (1985), Д. Барнс «История мира в 10 и ½ главах» (1989), А. Байетт «Обладание» (1990); *«Жар и пыль»* (1982, Д. Айвори), *«Жемчужина в короне империи»* (1984, К. Морохан, Д. О'Брайен), *«Тоннель в Индию»* (1984, Д. Лин), *«Дом Ховардов»* (1992, Д. Айвори), *«Чувства и рассудительность»* (1995, Д. Лин) и др.[2] Прошлое

[2] В данной статье названия литературных произведений напечатаны обычным шрифтом, художественных фильмов – *курсивом*. Названия литературных произведений и кинофильмов даются на русском языке с учетом сложившейся традиции перевода или того, какое наименование используется в прокате.

в этих произведениях выступает в роли *Другого,* а субъект оказывается отдаленным, отчужденным от собственного прошлого или прошлого его нации, культуры.

В качестве специфического варианта такого вида отчуждения можно рассматривать роман А. Грэя «Творец истории» (1994), в котором происходит смещение временных пластов (события настоящего наполнены узнаваемыми приметами прошлого (средневековые рыцарские поединки) и будущего (клонирование органов человека)); точек зрения (события изображаются то непосредственно из кругозора персонажа, то с позиции некоего летающего объекта и т.д.); отрезков действия (изображение событий неожиданно сменяются общими рассуждениями, текст романа поясняется в авторских примечаниях). Все это рождает необычные условия для восприятия основной истории – истории вымышленного шотландского клана и его борьбы за независимость. Автор романа иронизирует по поводу сложившихся концепций национального самосознания, в центре которых находятся представления об общей территории, историческом прошлом и проч. Карта, помещенная в начало повествования (выполнена А. Грэем), схематически изображает территорию, на которой происходят действия в романе. На ней отмечены горы (bens and crags), озера (lochs), долины (glens), то есть географические приметы Шотландии, а также памятники придуманным национальным героям (Hogg Monument). Однако данная карта и изображенная на ней местность – скорее всего игровое пространство, в котором разворачивается действие произведения, написанного в стиле фэнтези, или виртуальный мир компьютерной игры. Другими словами, картография воображаемого мира романа не содержит знаков, указывающих на деятельность, происходящую в этом месте: человек и его народ оказываются оторванными от реального исторического прошлого, можно сказать, что они существуют в ситуации утраченного прошлого, то есть в ситуации отчуждения от прошлого, от времени в целом. Смещение и совмещение временных пластов разрушают

целостное восприятие[3] происходящего, читатель как бы помещается за пределы традиционного временного потока, становится сторонним наблюдателем происходящего в отрыве от какой-либо временной соотнесенности[4].

Отчуждение от времени может принимать формы отстранения не только от коллективных, но и от индивидуальных воспоминаний. Итсуко, героиня романа К. Исигуро «Туманный вид холмов» (1982), переживает экзистенциальный кризис, вызванный самоубийством ее дочери, как неотвратимое напоминание о прошлом. Жизненный императив Итсуко следует воспринимать как необходимость забыть прошлое: ее молодость пришлась на годы Второй мировой войны, ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, послевоенной неурядицы. Забывая прошлое, сознательно отстраняясь от воспоминаний о событиях давно минувших дней, Итсуко получает возможность жить в настоящем.

Для многих британских авторов (П. Акройд, Д. Барнс, С. Рушди, Д. Айвори, Д. Лин) воспоминание – одна из распространенных форм познания окружающего мира и организации знания. Так, в романе Г. Свифта «Водоземье» Том Крик, рассказчик и alter ego автора-повествователя, в рамках собственных воспоминаний оживляет историю родного края – терри-

---

[3] Принцип фрагментации временного потока лежит в основе исследования о зависимости времени и человеческой судьбы, о роли случая и полисемии прошлого в фильме «*Осторожно, двери закрываются*» (1998, П. Хоуитт), где различные версии прошлого свидетельствуют о сомнениях автора в каузальной природе времени.

[4] Например: «The Warrior House was built over the short river… Four steep-glass-fronted gables, a central pyramidal skylight, a hexagonal tower faceted with mirrors made it look like a futuristic village in 1930s Hollywood movie or a postmodern art gallery designed sixty years later. This archaic appearance was enhanced by an absence of power plant» [3, с. 63]. В описании этого строения мы встречаем ссылки на архитектурные детали разных эпох – 1930-х годов, постмодерна, далекого прошлого (a Warrior House) и далекого будущего (a power plant), которые «перемешаны» (так будущее выглядит архаичным) и создают впечатление времени как хаоса.

тории Фенз, которая в его индивидуальном сознании соотносится с историей всей Великобритании: он проецирует события внешней, официальной истории на внутреннюю, личную жизнь обитателей этой удаленной области Великобритании. История формирования британской нации в его рассказе предстает как история его семейства, имперская мощь нации – как коммерческий успех его предков. Рассказ героя, основанный на впечатлениях о прошлом, – попытка (ре)структурировать знание, придать ему некоторый онтологический смысл, что в метафорическом поле романа приобретает образ водоземья, то есть заболоченной местности Фенз, осушение которой – инскрипция человеческого знания в пространство внешнего мира (осушение болот Фенз и устройство дамб и каналов – то есть зримой системы координат и ориентиров – соотносится с воображаемым дискурсом человеческого знания вообще: в конце своей жизни Том совершает ежедневные прогулки к нулевому меридиану в Гринвиче; нулевой меридиан – конвенция, которая символизирует апогей развития имперской мощности Британии и утверждение ее мирового господства). Преобразование Фенз – это работа, которая основана на отчуждении водной стихии, работа, которая в конечном итоге приводит человека к отчуждению от собственного сообщества (жители Фенз, как это изображено в романе, живут разрозненными группами, разделенными друг от друга системой каналов и дамб), к одиночеству и безумию как отчуждению от собственной идентичности. Проникновение в тайны прошлого становится возможным, когда Том покидает Фенз и переселяется в Гринвич: он моделирует историю своих родных мест путем отдаления от реального прошлого, реальной обстановки.

Таким образом, отчуждение от времени связано с инвалидацией структур человеческого знания, в частности, представлений о национальной истории и процессах идентификации личности (Д. Барнс, А. Байетт). Отчуждение от времени принимает формы саморефлексии (П. Акройд, К. Исигуро) и отражения как реинсталляции элементов картографии прошлого (Г. Свифт, А. Грэй).

Отчуждение от пространства

Герой романа И. Макьюэна «Невинный» (1990) Леонард Манхем существует одновременно в реальном пространстве послевоенного Берлина, где у него завязываются любовные отношения с немецкой девушкой Марией Экдорф, и в гиперреальном пространстве секретного тоннеля, предназначенного для перехвата и расшифровки радиопередач из советского сектора. События, связанные со строительством тоннеля и развитием отношений между Марией и Леонардом, разворачиваются параллельно. Два мира – мир тоннеля и мир Марии – соприкасаются только в воображении главного героя. Постепенно он познает тайны тоннеля (получает доступ к новой информации, переходит на «следующий уровень допуска») и тайны плотской любви (теряет невинность, становится мужчиной). Инициация героя в контексте романа рассматривается как преодоление некоего запрета, нарушение границы, реализация репрессированных эмоций; невинность героя приобретает формы метафизической невинности, которая, по мнению автора, является национальной чертой британцев (примечательная деталь: у другого персонажа романа, тоже британца, сохраняются молочные зубы). Невинность, однако, трактуется как нравственная слепота: Леонард насилует Марию, убивает человека. Иными словами, личностные и национальные черты героя раскрываются в ситуации отчуждения от знакомого ему пространства Британии, повседневной действительности, то есть в ситуации столкновения с *Другим*, репрезентированным в образах представителей иных наций, секретной операции и тайной атмосферы подземного тоннеля.

Моделирование национальной идентичности в романе Д. Барнса «Англия, Англия» (1998) происходит в воображаемом пространстве острова Уайт, где по воле миллионера Джека Питмана, образ которого – ироническая репрезентация собственника нового типа, собственника эпохи постиндустриального общества, виртуальных технологий, – создается коллекция материализованных культурных стереотипов: «королевская семья, Биг

Бен,... Робин Гуд,... Шекспир,... лондонские такси» [12, с. 114] и т.д. Удаление от реального пространства (глава «Англия») в область «двойного кодирования» (глава «Англия, Англия») воспринимается главной героиней романа, Мартой Кокрейн, как невозможность повторить опыт прошлого, будь то ощущение утраты после неудачного участия в сельскохозяйственной выставке или особо острый оргазм[5]: «Марте Кокрейн было суждено прожить долгую жизнь и за все эти годы ни разу не встретить первого воспоминания, которое не показалось бы ей ложью» [12, с. 8]). Герои произведения обречены существовать в симулякре реальности, симулякре своей национальной, культурной принадлежности («Пейзаж отмылся от химических красок...» [12, с. 336]): в головоломке («пазле») в форме графств Англии, который пытается собрать маленькая Марта, то есть завершить процесс национальной идентификации, все время недостает одной детали – одного графства.

Ситуация отчуждения от знакомого культурного пространства рассматривается в романе британского писателя кантонского происхождения Т. Мо «Кисло-сладкий соус» (1985). Лили и ее муж Чен, уехавшие из Китая в надежде обустроить свою жизнь в Лондоне, оказываются в ситуации добровольного изгнания: барная стойка в их небольшом ресторанчике становится символом непреодолимого барьера, который существует между ними и коренными британцами. Лили и Чен отстраняются от действительности и начинают жить в замкнутом мире, тщательно сохраняя свою культурную идентичность. Единственным медиатором между двумя культурами становится сестра Лили, которая достаточно много узнает о Британии и британцах, но только опосредованным путем – из телепередач, то есть избегая прямого контакта с реальностью.

Отчуждение как отсутствие корней, национальных, культурных, становится причиной кризиса идентичности в произ-

[5] «... это не Каркассон... Не станешь же ездить туда вновь и вновь в надежде получить еще одного божественного любовника или еще одну эль-грековскую грозу...» [12, с. 272].

ведениях С. Рушди. Салем Синай, герой-рассказчик в романе «Дети полуночи» (1981), – мигрант в пространстве и времени: он родился в ночь, когда была провозглашена национальная независимость Индии, его семья после известных событий вынуждена переехать в новообразованный Пакистан и т.д. Его жизнь – это история постепенного отдаления от какой-либо фиксированной национальной идентичности, это процесс, ведущий к полному отрыву от пространства какой-либо целостной культуры: разорванная пуповина становится метафорой его собственный судьбы и судьбы его поколения, «детей полуночи». В романе «Прощальный вздох мавра» (1995) паломничество Мораиша Зогойби приобретает формы бесцельного скитания: водораздел, пограничная область – единственная гавань, в которой находит пристанище его амбивалентная культурная идентичность: «Я и то и другое – или ни то ни другое, жидопапист, катоиудей, римско-иерусалимский кентавр, ни рыба ни мясо, гибрид, беспородная дворняга. Как теперь пишут на коробках? Гомогенизированная смесь. В общем, господа, полуфабрикат «Бомбей»...» [17, с. 129]. «Культура пограничья» меняет наши представления об организации знания по «национальному признаку» (английский романтизм, русский символизм и т.д.), а также наше восприятие времени как безграничного континуума и пространства как некоего географически детерминированного расстояния между фактами-событиями.

Таким образом, отчуждение от пространства выражается в виде отчуждения субъекта от его индивидуального (И. Макьюэн, Д. Лодж), национального (Д. Барнс, М. Эмис) или культурного (Т. Мо, С. Рушди) пространства.

Отчуждение от реальности

Национальная и культурная идентичность Тимоти Харкомба, героя романа П. Акройда «Английская мелодия» (1992), формируется за счет двух дискурсов: реального – традиционного, «воспитательного» (в кругу семьи и друзей), свя-

занного с поисками утраченной фигуры матери (нечетные главы произведения), и воображаемого – путешествия по произведениям английской литературы и искусства, которые становятся возможными благодаря гипнотическим снам героя (четные главы). Скачкообразный характер жизненного и повествовательного движения, по мнению автора, отражает свойства самой английской – национальной – мелодии, ее способность к самовоспроизведению, повторению[6]. Направление движения – удаление от себя с целью приблизиться к себе – своеобразный «wandering»[7] – приводит к отчуждению героя от привычных форм бытия. В романе грань между истинным и ложным, сознательным и бессознательным стирается; переходы между состояниями бодрствования и сна почти что неуловимы; понимание происходящего вынесено за пределы четных глав, а в нечетных оно присутствует в виде намека, цитаты, реминисценции. Гипнотическое понимание / припоминание становится не просто воспроизведением прошлого, а его непосредственным воспроизведением в речи в виде рассказа о незавершенной судьбе субъекта. Предлагая нашему вниманию фиксацию снов Тимоти, автор фактически выступает в роли психоаналитика, проводящего свой сеанс; однако в роли объекта выступает не Тимоти, а Английская мелодия: перефразируя название главы из книги Ж. Лакана, «символ и язык выступают как структура и границы поля культурного анализа» [16, с. 36]. Через семантические сгущения З. Фрейд учится понимать сны, а П. Акройд – культуру. Сон, по мнению Ж. Лакана, становится оболочкой, в которую облачается испытываемое субъектом желание *Другого*, а аналитическая операция вскрывает «элементы реализующегося в нем диалога» [16,

[6] «... в анализе движение происходит прыжками, скачками, а применение к нему определенных всеобщих символических отношений всегда оказывается, строго говоря, неадекватным, окрашиваясь подспудно в различные тональности, обусловленные, например, проникновением Воображаемого в Символическое» [15, т. 2, с. 127].

[7] См.: *Струков В.В.* Художественное своеобразие романов П. Акройда: К проблеме британского постмодернизма. Воронеж, 2000.

с. 38], то есть пастиш как стилистическая атрибуция снов Тимоти используется для провокации культурного (не)узнавания, (не)признания со стороны читающего субъекта.

Эпиграф[8] из «Философских исследований» Л. Витгенштейна, предваряющий роман А. Картер «Адские машины желания доктора Хоффмана» (1972), настраивает читателя на восприятие художественных образов произведения в контексте концепции языковых игр, социокультурный аспект которой отражен, как известно, в понятии «форма жизни / бытия». Фантомы, населяющие пространство романа и призванные «свести нас всех с ума»[9] [14, с. 11], оказываются наиболее устойчивой формой бытия, наиболее целостной категорией в подвижном мире желаний: западный логоцентрический дискурс дает трещину, через которую «протискиваются, проскальзывают боком всевозможные бесформенные привидения» [14, с. 13]. Усилия «Полиции Определенности» оказываются тщетными: герой вытесняется из реального мира и находит пристанище среди представителей так называемого «речного народа», которые обречены вечно странствовать по водным артериям своей страны, потому что только так – в состоянии постоянного движения («wandering») – им удается сохранить фиксированность собственной идентичности. Проникновение героя в клан речных людей становится возможным благодаря этническому сходству (его родители были кочевники) и знанию их языка, в котором отсутствует главное понятие метафизики – понятие присутствия[10]. Таким образом, герой ро-

[8] «(Вспомним, что иногда мы требуем определений не ради их содержания, но ради формы. Наши потребности чисто архитектурные: определение – это своего рода орнаментальное перекрытие, которое ничего не поддерживает.)» [14, с. 3].

[9] Очевидно, перифраз известного изречения Ж. Делеза о том, что субъект постмодернизма призван свести с ума структурализм, культуру, общество, религию, психоанализ.

[10] «Отсутствовал у них и точный эквивалент глагола «быть», тем самым из картезианского орешка напрочь оказывалось выбито ядрышко и каждый оставался наедине с обнаженным, необсуждаемым фактом существования...» [14, с. 130].

мана оказывается отчужденным от реального мира, в основе которого лежит принцип структурного смыслополагания, то есть фиксированности отношений между означающим и означаемым и системы идентификации: он вынужден стать «желающей машиной», то есть объектом, подчиненным соответствующей культуре и ее общественным формациям.

С другой стороны, (не)насильственное изгнание субъекта можно рассматривать как одну из форм отчуждения от какой-либо социальной функции, то есть маргинализации, наряду с тюремным заключением или другой формой изоляции от социума, и, как следствие, – перемещение в пространство субкультуры. Если в «*По магазинам*» (1994, П. Андерсон) молодежь открыто протестует против культа «желания и потребления», подчиняющего себе современное общество, то в «*На игле»* (1996, Д. Бойл, по роману И. Уэлша «Трейнспоттинг») она выбирает иную тактику: Рэнтон и его товарищи отстраняются от реального пространства, они «переселяются» в субреальный мир наркотиков. Наркотическое опьянение избавляет их от столкновения с так называемой «окружающей действительностью», в которой на самом деле жизнь подвергается «брэндификация»[11]: не только искусство, но сама реальность становится товаром, симулякром. Грань между двумя мирами (мир с наркотиками и мир без наркотиков) стирается за счет смешения элементов реалистического и фантастического изображения; жизнь предстает как путешествие в некий «прекрасный» иной мир, одновременно реальный и иллюзорный, возвращение из которого происходит через боль, захватывающую все тело. Паразитическое отношение героев к жизни обусловлено их отчуждением от реального мира в субреальный мир наркотиков, от культуры мэйнстрима в субкультуру

[11] «Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television... choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning... nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats you spawned to replace yourself. Choose a future. Choose life... But why would I want to do a thing like that?» [11].

бедных кварталов, от культуры Британии в субкультуру Шотландии[12] (только не пасторальные пейзажи Шотландского высокогорья, а урбанистический пейзаж Эдинбурга).

Таким образом, в результате отчуждения от реальности субъект переносится в воображаемое пространство сна (Д. Фаулз, П. Акройд), модели-симулякра действительности (А. Картер, М. Эмис) или в область субкультуры (И. Уэлш, Х. Курейши).

Отчуждение от языка

Творчество П. Акройда – пример отказа говорить на собственном языке. В своих произведениях писатель всегда говорит от имени *Другого*, на языке *Другого*: в романе «Завещание Оскара Уайльда» (1983) – это язык английского эстета, в романе «Хоксмур»[13] – язык якобинской драмы XVII века, в «Чаттертоне» (1987) – поэтический язык XVII века и прозаический язык XIX, в «Доме доктора Ди» (1994) – хроники времен королевы Елизаветы и т.д. Постмодернистское пастиширование разнообразных стилей прошлого приводит к утрате собственного звучания, собственный язык предстает как конгломерат заимствований, аллюзий, реминисценций, которые вбирают в себя голоса всей английской литературы и культуры. Таким образом, П. Акройд доказывает, что воспроизводство национального культурного знания возможно за счет освоения и использования эстетического языка его прошлого.

Метаморфозы национального самосознания и прежде всего необходимость сохранять культурную и эстетическую ина-

[12] «Tommy: Doesn't it make you proud to be Scottish? Renton: It's SHITE being Scottish! We're the lowest of the low. Most people hate the English. I don't. They're just wankers. We're colonised by wankers. We couldn't even find a decent race to be colonised by. It's a shite state of affairs to be in, and no amount of fresh air is ever going to change that» [11].

[13] В метафорическом пространстве этого романа создание национального языка соотносится с возведением в Лондоне новых церквей; а смешение регистров языка, вариантов национального языка – с соединением разных архитектурных стилей (классицизм и барокко).

ковость вынуждают ряд британских писателей создавать свои произведения на языке определенного этнического меньшинства. Речь идет о писателях и поэтах, создающих свои произведения на гелльском языке или на так называемом «шотландском диалекте». Стихотворения Р.А. Джемисона – яркий пример существования в области лингвистических маргиналий[14], результат смешения разнообразных языков, смешения, воспринимающегося поэтом как отчуждение от собственного *Я*, то есть такого *Я*, которое существует только в оппозиции *Другому*: публикация стихотворений Р.А. Джемисона сопровождается авторским переводом на английский язык, при этом противопоставление языков – собственного и другого (собственного, который читателем воспринимается как *Другой*), – подчеркивается использованием прозаического перевода стихотворения на английский язык.

«*Frisk Water Troot:*
Afoar he laerns t'sykil a byk
He's tentilie rowin da flatboddim
Roond an aroond Melbie logh.
Siks jier aald
An dark paetie waatir's
Slappin at da syd.
Fresh Water Trout:
Before he learns to ride a bike, he's carefully rowing the skiff, round and around the Melby loch (Six years old, and dark peaty water's slapping at the side)» [6, с. 163].

Эксперимент по созданию *Другого* языка, с помощью которого становится возможным заявить о собственной сложной национальной идентичности, находится в центре творчества

[14] Поэт родился и вырос на Шетландских островах, там, где люди говорят на языке, который не похож на английский или норвежский, или на «шотландский выговор», или на гелльский, то есть на языке, который не поддается какому-либо описанию, языке, существующем как бы в противовес имперскому английскому, находящему употребление в школе и церкви [6, с. 158].

другого шотландского автора, Дж. Пайзли. В своих поэтических (например, сборник стихов «Ye Cannae Win», 2000) и прозаических произведениях (сборник рассказов «Not for Glory», 2001) она опирается на языковую систему «шотландского диалекта» – языка части населения современной Шотландии, восходящего к нортумбрианской ветви староанглийского языка – для разработки собственных экспрессивных средств, которые она использует для описания небольшого шотландского сообщества, то есть строит свою модель этнической, а в свете дезинтеграционных процессов в современной Великобритании, национальной, идентичности.

Позиция *Другого* в культурном пространстве Великобритании в творчестве писателей небританского происхождения проявляется в использовании выразительных средств иного языка. В романах С. Рушди вкрапления на хинди, урду (tamasha, goonda, dhobis и т.д.) – это способ, с одной стороны, сохранить собственную языковую и культурную инаковость, а с другой – раздвинуть семантические границы английского языка. В ряде своих произведений писатель подчеркивает невозможность передать смыслы одного языка, культуры средствами другого, особенно это касается имен собственных: ономасиологический разрыв фиксируется в индивидуальных вариантах кодификации действительности.

Отчуждение от языка может принимать радикальные формы. В кинофильме *«Близость»* (2001, П. Шеро, по произведениям Х. Курейши) герои преодолевают несвободу Языка путем полного отказа от Слова: во время регулярных встреч, когда они полностью отдаются друг другу, Клэр и Джей учатся говорить только на языке тела. Вынужденное молчание – кляп во рту у Джоди, заложника, – помогает Фергусу, главному герою еще одного фильма – *«The Crying Game»* (1992, Н. Джордан), познать невербальные средства выражения чувств *Другого*: страданий Джоди, страданий его *другого,* черного тела.

Таким образом, отчуждение от языка принимает формы реконструкции языка национального прошлого (П. Акройд, А. Байетт), конструирования национального языка (Дж. Пайзли, А. Кел-

ман), креолизации языка (С. Рушди, В. Найпол), деструкции экспрессивных средств языка (П. Шеро, Н. Джордан).

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проанализированные формы отчуждения, конечно же, не исчерпывают всего явления; в то же время они свидетельствуют о сложном процессе, который проистекает в художественном и научном дискурсе и который связан с пересмотром статуса нации и пространственно-временных характеристик национальной идентичности, роли языка и нарратива в формировании устойчивых национальных конвенций. Общая эпистемологическая неуверенность проявляется в том, что темпоральное и локальное измерение культуры превалирует над ее константами, *другое* как важный компонент дискурса зачастую трактуется как *другие*, то есть событие исследуется в его индивидуальных проявлениях, а структура знания и методологическая основа его получения подвергаются сомнению. Инновации в области эстетического мышления достигаются за счет эксплуатации существующих технологий, сочетания не/над/гипер/суб/и т.д./реального и условного уровней изображения. Другими словами, современная литература и кино демонстрируют опосредованный подход, используемый для восприятия и изображения действительности, исследования культурного содержания изображаемых событий; отчуждение становится формой существования субъекта, формой отрицательной дефиниции его национальной, культурной идентичности. Сам субъект перемещается в пограничную область, туда, где всё подвергается сомнению; происходит гибридизация сознания и художественных форм; мы наблюдаем настойчивое преодоление границ одного художественного дискурса, обращение к глубинам человеческой психологии в попытке проанализировать внутренние механизмы идентификации субъекта, при этом репрессированные эмоции прорываются наружу, минуя культурные и нравственные барьеры. Художественный язык литературы и кино обогащается за счет использования эстетики прошлого и настоящего, разных культур и разных культурных эпох; в то же время язык и художественный дискурс в целом деконструируются в целях выявления скрытых механизмов идентификации и конструирования субъекта и шире – действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ackroyd P.* English Music. L., 1992.

2. *Anderson A.* The Powers of Distance, Cosmopolitanism and the Cultivation of Detachment. Princeton University Press, 2001.

3. *Gray A.* A History Maker. Edinburgh, 1994.

4. *Bhabha H.* DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation // Nation and Narration / Ed. by H. Bhabha. L., 1990. P. 291 – 322.

5. *Ishiguro K.* A Pale View of Hills. L., 1982.

6. *Jamieson R.A.* Nort Atlantik Drift // *Heat: 13*, International Literary Journal ed. by I. Indyk, published in Australia, 1999. P. 158 – 169.

7. *Landy M.* Nation and Imagi-Nation in *Private's Progress* // The Family Way: The Boulting Brothers and Postwar British Film Culture / Ed. by A. Burton. L., 2000. P. 175 – 189.

8. *McEwan I.* The Innocent. L., 1990.

9. *Mo T.* Sour Sweet. L., 1985.

10. *Rushdie S.* Midnight's Children. L., 1981.

11. *Trainspotting*: The Original Screenplay // http://www.godamongdirectors.com/scripts/trainspotting.shtml.

12. *Барнс Дж.* Англия, Англия. М., 2000.

13. *Деррида Ж.* О грамматологии. М., 2000.

14. *Картер А.* Адские машины желания доктора Хоффмана. СПб., 2000.

15. *Лакан Ж.* Семинары. М., 1999.

16. *Лакан Ж.* Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.

17. *Рушди С.* Прощальный вздох мавра. СПб., 1999.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Grucza Fr. 68
Maletzke G. 68
Августин Блаженный 44
Александер Дж. 99
Андерсон С. 127, 219
Анкерсмит Ф.Р.
Аннан К. 120
Арендт Х. 91, 96
Аристотель 46, 48, 54
Бартельсон Дж. 77
Бачнан П. 100
Бегбедер Ф. 105 – 108, 109, 111
Бек У. 79, 84
Бентли М. 23
Бердяев Н.А. 40
Бисмарк 166
Бове Ж. 103
Буковски Ч. 111
Бул Х. 123
Буллард А. 184
Бурдье П. 77, 89, 103
Вакант Л. 77
Валлерстайн И. 84, 188, 196
Васкез Дж. 143, 152
Вебер М. 74
Вежбицкая А. 197, 204
Витгенштейн Л. 47, 54, 229
Гадамер Г.-Г. 19, 40
Галифакс, лорд 191
Гарриман А. 195
Геллнер Э. 134
Герачи Р.П. 28
Гозман Л., Эткинд А. 42
Голдсмит Дж. 100
Грин Дж. П. 30, 41
Гумилев Л.Н. 104, 146, 158, 168
Гурвич И.А. 185
Гуссерль Э. 51
Де Резенде Мартинс Э. 24
Де Воллан Г.А. 185
Декарт Р. 51, 53
Дерланд К. 184
Дефо Д. 209, 210
Джефферсон Т. 30, 31
ДиМаджио П. 74, 75
Дирлик А. 98
Драгунский Д. 147, 153
Елизарова Г. 198, 204
Жоспен Л. 100
Задорожнюк Э.Г. 42
Замятин Д. 148, 154
Замятин Е. 109
Зарубин В.Г. 42
Зверева Г.И. 40, 42
Зеленцова А.В. 43
Зенон Элейский 48
Зибер Б. 25, 26, 41
Зиммель Г. 62

Иггерс Г.Г. 25
Ильин С. 96
Инглхарт Р. 89
Йонниеми П. 146
Каванаш Дж. 127
Кандауров П.Д. 184
Кант И. 15, 18, 49, 51, 53, 87, 95, 96, 146
Кастеллса М. 24
Кастельс М. 72, 84, 90, 97
Кеннан Дж. 195
Ключевский 200
Кортен Д. 127
Коупленд Д. 103 – 105, 111
Крамник В.К. 35, 42
Кругман П. 114
Лазарсфельд П.Ф. 83, 84
Лапина И.А. 43
Левашева В. 198
Лёве Х.Д. 40
Лемберг Х. 25
Лессиг Л. 119
Ливен Д. 26, 41, 215
Локк Дж. 13, 210
Лосев А.Ф. 132, 141
Луман Н. 90, 92, 93, 97
Люббе Г. 22, 40
Малахов В. 161, 168
Медведев С. 146
Мейер Дж. 72, 73
Мердок А. 109
Мертон Р.К. 83, 84
Млынар З. 144
Моргентау Г. 194
Негри А. 87, 97
Неклесса А. 88, 97
Озеров И.Х. 185
Олдбер И. 152
Онаф П.С. 30, 31, 42
Па Чунг Хи 138
Паркер Н. 151
Парсонс Т. 91
Пауэлл У. 74, 75
Пивоев В.М. 34, 42
Пул Э. 184
Путин В.В. 166
Пьецух В. 43
Ре де Ж.
Репина Л.П. 40 – 42
Рикер П. 134, 141
Рикёр П. 40, 85
Родрик Л. 127
Розен И.Б. 185
Рубинова И.М. 185
Рузвельт Т. 180
Рузвельт Ф.Д. 189, 190, 192, 193, 195
Рыбаков С.Е. 134, 141
Рюзен Й. 25
Салов В.В. 184
Сандел М. 123
Сартр Ж.-П. 206, 218
Саутгейт Б. 24
Сейд Э. 99
Скорняков Е.Е. 184
Скотт Л. 184
Солженицын А.И. 200, 203, 205
Спайкмэн Н. 194
Сталин И.В. 27, 166
Стоукс Е.
Тверской П.А. 185
Тер-Минасова С. 198, 204
Тирьякьян Э. 99
Титков А. 148, 154

Тренин Д. 146
Триоле Э. 106
Трумэн Г.С. 190, 191, 195
Тулайков Н.М. 184
Уайльд О. 109, 231
Уилки У. 192, 193
Уоллерстайн И. 78, 84
Уоллинг У.И. 184
Ушакин С.А. 40
Уэллс Г. 40
Фаррел Д. 127
Форрестер В. 103
Фрай Х.-П. 26
Фрейд З. 146, 228
Фридман Т. 98, 124, 127
Фром Э. 81
Фромм Э. 146
Фукуяма Ф. 89, 99, 118, 127
Хабермас Ю. 95, 97, 134, 141
Хайэм Дж. 31
Хаксли О. 107
Хам ван П. 147
Хантингтон С. 28, 31 – 33, 97, 99, 101
Харпер С.Н. 184
Хауссер К. 26
Хейл К. 101
Хелд Д. 115, 127
Хрущев 166
Хэймсон Л. 28
Циммерман М. 25
Цой В. 166
Цурикова Л.В. 67
Чаадаев П.Я. 33, 45, 54
Эпплби Дж. 30
Эразм Роттердамский 104

ОБ АВТОРАХ

Абрамов Роман Николаевич – кандидат социологических наук, доцент Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ), Москва.

Алимпиева Анна Викторовна – кандидат социологических наук, кафедра политологии и социологии КГУ, Калининград.

Андрейчук Наталья Вениаминовна – кандидат философских наук, доцент, заместитель декана исторического факультета КГУ, Калининград.

Брюшинкин Владимир Никифорович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и логики КГУ, Калининград.

Гаврилина Лариса Михайловна – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и логики, Калининград.

Гришаева Людмила Ивановна – доктор филологических наук, профессор кафедры немецкой филологии Воронежского государственного университета, Воронеж.

Дахин Андрей Викторович – доктор философских наук, профессор кафедры философии и политологии, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), Нижний Новгород.

Завершинский Константин Федорович – кандидат философских наук, доцент Новгородского государственного университета им. Я.Мудрого, Великий Новгород.

Макарычев Андрей Станиславович – доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и поли-

тологии Нижегородского лингвистического университета, Нижний Новгород.

Макурин А. И. кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, Глазов.

Муравьева Марина Георгиевна – кандидат исторических наук, ассистент кафедры всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург.

Носков Владимир Витальевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург.

Пустовойтова Елена Павловна – Московский государственный лингвистический университет, Москва.

Сергеев Андрей Михайлович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Петрозаводского государственного университета, Петрозаводск.

Струков Владимир Вячеславович – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры зарубежной литературы, Воронежский государственный университет, Воронеж.

Сысоева Елена Томовна – старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург.

Юнгблюд Валерий Теодорович – доктор исторических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе Вятского государственного гуманитарного университета, Киров.

Научное издание

**ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ЕВРОПА, РОССИЯ, США**

Сборник научных трудов

Под ред. д-ра филос. наук, проф. В.Н. Брюшинкина

Редактор Н.Н. Мартынюк. Корректор Н.Н. Генина.
Оригинал-макет подготовлен И.А. Хрусталевым, О.М. Хрусталевой

Подписано в печать 23.06.2003 г.
Бумага для множительных аппаратов. Формат $60\times90^{1}/_{16}$.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 15,1. Уч.-изд. л. 10,1.
Тираж 500 экз. Заказ .

Издательство Калининградского государственного университета,
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14